

УДК 821.161.1-821+821.161.1(093.3)(092)Антокольский П.Г.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Антокольский П.Г.+84(2Рос=Рус)6
А72

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Автографы произведений, иллюстрации к стихам и фотографии
хранятся в личном архиве составителей,
в фондах Дома-музея Марины Цветаевой (Москва)
и в фондах Литературного музея им. А.С. Пушкина (Вильнюс)

Составление, публикация, комментарии
Андрея Тоома, Анны Тоом

Найти то, что считается утерянным, и издать подлинного Антокольского – это могло бы стать сенсацией. Я уверен, что однажды вы натолкнётесь на целый пласт текста <...> что остался где-то в загашнике, и выйдет этот текст на волю Божию, и тогда очень интересная фигура русской поэзии предстанет миру.

*Из беседы с А.П. Межировым.
Нью-Йорк, 21 апреля 2002*

Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) – поэт, переводчик, литературовед – принадлежит к числу классиков отечественной литературы XX века. Существует множество прижизненных изданий его трудов. И сегодня может показаться, что творчество знаменитого мастера слова исчерпано, а потомкам остаётся лишь перечитывать старые сборники его произведений. Но это не так.

Книга «Далеко это было где-то...» – итог нашей многолетней работы с литературным архивом П.Г. Антокольского. В архиве найдены его неопубликованные труды. Многим рукописям почти сто лет, ведь поэт начал свой творческий путь ещё до революции. Здесь множество ранних стихов, две пьесы, автобиографическая повесть, написанная уже в зрелые годы.

Как же могло случиться, что все эти произведения не увидели свет при жизни автора? Почему он мало публиковал свои ранние стихи, а те немногие, что были опубликованы, либо изменены так, что их не сразу узнаешь, либо «спрятаны» в циклах изданных книг так, что не сразу найдешь? Почему он не отдал в печать свою автобиографическую повесть, хотя не раз использовал рукопись как материал для работы над очерками о современниках? Если он не ценил их, то зачем он их сохранил? Известно, что в 1941 году, перед отъездом в эвакуацию, Павел Григорьевич сжёг какую-то часть своего архива, но не ранние стихи – их он надёжно спрятал. Зачем? Подготавливая книгу, мы нашли ответ на этот вопрос.

Книга состоит из трёх разделов, представляющих поэзию П.Г. Антокольского, его драматургию и прозу. В раздел «Стихи» наряду с хорошо известными и малоизвестными произведениями автора вошло более

двухсот неизвестных стихотворений, по большей части принадлежащих к самому раннему периоду его творчества – 1915–1919 годам. В раздел «Пьесы» включены две ранние пьесы «Кукла Инфанты» и «Кот в сапогах, или Обручение во сне». Проза представлена автобиографической повестью «Мои записки» – самым большим прозаическим произведением, когда-либо автором созданным. Наряду с фотографиями, большая часть которых прежде не публиковалась, в книгу вошли неизвестные рисунки П.Г. Антокольского и друга его юности Ю.А. Завадского, иллюстрировавшего его стихи.

Все эти произведения не случайно собраны воедино: разные части книги дополняют и поясняют друг друга. Стихи и пьесы Антокольского становятся более понятными, когда мы узнаём подробности их написания из его автобиографической повести. Представленные здесь рисунки иллюстрируют именно ранний, наименее известный период творчества автора.

Книга «Далеко это было где-то...» – единственное на сегодняшний день издание, включающее практически всё неопубликованное наследие П.Г. Антокольского.

Писать Павел Антокольский начал рано. Чудом уцелела тоненькая тетрадь – гимназический литературный альманах «Призыв», датированный 1913 годом, – и в ней находим самые первые и робкие пробы его пера под псевдонимом Поплавский: переводы стихов Гуго фон Гофманстала¹ и Райнера Рильке². Он учился в хорошей гимназии, где творчество учеников поощрялось. Гимназия Е.А. Кирпичниковой на ул. Знаменка вблизи Арбатской площади в центре Москвы славилась своим либерализмом и отличным гуманитарным образованием. Особенно хорошо было поставлено обучение родному и иностранным языкам, а организованный в гимназии театр считался едва ли не лучшим ученическим театром Москвы. Именно в гимназические годы берут своё начало оба профессиональных увлечения П.Г. Антокольского – литературой, в том числе литературным переводом, и театром. Многие его однокашники писали. Писал и он от случая к случаю и поначалу, видимо, не придавая этой деятельности большого значения.

Он принадлежал к семье с уже сложившимися художественными традициями. Среди родных были люди искусства – скульпторы, художники. Его тоже прочили в художественную академию. Родители хотели отправить сына учиться живописи в Париж, но эти планы разрушила начавшаяся Первая мировая война.

Семья оказалась в нужде, и было решено, что Павлик остаётся в Москве. Окончив гимназию, он недолго посещал народный университет им. Шанявского, а затем поступил в Московский Университет и два года проучился на юридическом факультете без особого интереса. Но твор-

¹ Гуго фон Гофмансталь (1874–1929) – австрийский писатель, поэт, драматург; представитель декадентства в австрийской литературе конца XIX – начала XX века.

² Райнер Мария Рильке (1875–1926) – австрийский поэт.

ческая энергия – как стремительная река: возведи препятствие – найдёт другое русло. Вот тогда он всерьёз и увлёкся литературным творчеством.

Начало поэтического пути Павла Антокольского совпало с расцветом Серебряного века русской литературы. В Петербурге и Москве кипела литературная жизнь: один за другим возникали поэтические кружки, то и дело появлялись новые яркие индивидуальности. Предмет всеобщего восхищения – стихи Александра Блока, поэта старшего поколения. Но уже в полный голос заявили о себе и молодые таланты, почти одногодки Антокольского: Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский, Есенин – сильные, яркие личности, уверенные в себе поэты, на равных спорившие с предшествующим поколением. А он – всё ещё наивный юноша, к тому же очень стеснительный.

В сравнении с их стихами его собственные казались ему беспомощными, и он считал их не заслуживающими публикации. Такая взыскательность к себе, конечно, – достоинство, но всё же его самовосприятие не было вполне адекватным. Ведь распознала же в нём поэта Марина Цветаева: в нём, почти мальчишке, и по одному только стихотворению распознала, а уж как была строга, как требовательна и к себе и к другим!..

Своим учителем Антокольский считал Александра Блока, которого, впрочем, не знал лично. Поэзия Блока помогла ему «понять значение метафоры, как некой волшебной силы, преобразующей мир». Так он сам утверждал и нередко с усмешкой добавлял: «Мои ранние стихи – сплошное подражание Блоку». С благодарностью он говорил и о Валерии Брюсове, покровителе и наставнике московской поэтической молодёжи тех лет, своём первом издателе. Но главную роль в своей поэтической судьбе он отводил Марине Цветаевой. Она первая не только одобрила его стихи, но и дала им проницательную оценку, а потом сделала для него то, чего не сделал никто другой: открыла ему дверь в свою поэтическую мастерскую.

Работая с его старыми рукописями, мы неожиданно обнаружили влияние на его творчество ещё одного поэта, о котором он никогда не упоминал. Поражает сходство некоторых датированных 1915 годом стихов Павла Антокольского с опубликованными несколькими годами ранее стихами Елизаветы Дмитриевой, известной под псевдонимом Черубины де Габриак. У неё он заимствовал целый фантастический мир: поэтические образы, персонажей, некоторые стихотворные строки¹. Сходны и их биографии: каждый в раннем возрасте пережил потерю сестры – отсюда тема смерти в творчестве обоих, ещё очень молодых людей.

А. Блок, В. Брюсов, М. Цветаева, Черубина де Габриак – это его современники, литераторы, чей талант и творчество были для него образцом, у них он сознательно или невольно учился поэзии.

¹ См. стихотворения 1906–1910 годов: «Душа как инфанты поблекший портрет...», «Она спускает без усилия...», «Червлёный щит в моём гербе...» в кн.: *Черубина де Габриак*. Исповедь. М., 1998.

А к кому он обращался в своих стихах? Кому их посвящал? Нередко родным: тётке Елене Павловне Антокольской (в замужестве Тархановой) – скульптору, дяде Льву Моисеевичу Антокольскому – художнику. Они – продолжатели богатой культурной традиции, идущей от их общего предка, выдающегося скульптора Марка Матвеевича Антокольского.

Есть у его стихов и молодые адресаты. На первом месте, конечно, Ю.А. Завадский – ближайший друг тех лет. И часто встречаются на страницах рукописей имена тех, кто после революции либо ушёл в Белую армию, либо уехал в эмиграцию: Марина Цветаева, Сергей Гольцев, Юрий Серов, Владимир Алексеев, Евгений Кумминг. Таков круг общения молодого Антокольского: родные, далёкие от вспыхнувшей в стране революционной лихорадки, и друзья, многие из которых предпочли чужбину и даже смерть жизни в большевистской России.

Нетрудно заметить, что ни его учителя, за исключением, пожалуй, В.Я. Брюсова, ни многие его друзья благонадёжными для новой власти не были. И это – не случайность. Большевики расценили как «классового врага» целый слой общества, в культурном отношении самый продуктивный. Неудивительно, что Антокольскому было интересно с такими людьми. И это не могло не отразиться на творчестве искреннего, открытого юноши. Нет сомнения: появившись ранние стихи Павла Антокольского в печати в 1920–1930-е годы, не избежать ему беды. Вот она, главная причина того, что он их крайне редко публиковал.

Итак, Павел Антокольский делал свои первые шаги в поэзии, учась у великих мастеров своего времени. Не хватало только любимого дела, благодаря которому он мог бы и сам состояться как личность и как поэт. По-мог случай.

Однажды, зимним утром 1915 года он, уже студент второго курса юридического факультета, увидел на стене университетского здания объявление о приёме в драматическую студию. Он отправился туда, в Мансуровский переулок вблизи Арбата, в самом центре Москвы, и был зачислен в актёрскую труппу, которой руководил Евгений Багратионович Вахтангов. В дальнейшем студия вырастет в ярчайшее театральное явление своего времени, а впоследствии станет знаменитым Театром имени Евг. Вахтангова.

Для этой студии Антокольский написал три пьесы, среди них «Кукла Инфанты» (1916) и «Обручение во сне» (1917–1918). Главным энтузиастом их постановки был Юрий Завадский, актер и художник. «Именно тогда в нём проснулся будущий потенциальный режиссер», – вспоминал позже Антокольский. Но у постановок была не слишком счастливая судьба – в бурные революционные годы они оказались неактуальными.

Последующие годы, несмотря на их тяжесть, были для Павла Антокольского необычайно плодотворны и полны интересных встреч. Рассказы об этих встречах составляют ценную часть автобиографической повести «Мои записки». Он написал о совместной работе с Е.Б. Вахтанговым, о своих товарищах по работе в театре, о дружбе с М.И. Цветаевой и Ю.А. За-

вадским, о А.Я. Таирове, с которым ему тоже пришлось поработать, о великих режиссерах В.Э. Мейерхольде и К.С. Станиславском.

В тридцатые годы он уже занимался по преимуществу литературной работой. В «Записках» нашла свое отражение история становления перевода поэзии национальных республик в бывшем Советском Союзе. П.Г. Антокольский был в числе основоположников этого направления. Рассказал он и о другом удивительном явлении тех лет – увлечении молодежи театром. Он и его жена Зоя Константиновна Бажанова, актриса, как представители театра Е.Б. Вахтангова возглавили один из таких молодежных театров в городе Горьком.

В то же время, как ведущий литературные семинары в Госиздате и в Литературном институте им. Горького, П.Г. Антокольский сплотил вокруг себя талантливую поэтическую молодёжь страны, стал учителем нескольких поколений поэтов, впоследствии заслуженно названных «цветом советской поэзии». О том, как зарождалась их дружба, как она крепла в годы Великой Отечественной войны, не раз говорили другие: и его питомцы, и историки, но сам он, кажется, впервые – именно в своих «Записках».

Повесть «Мои записки» охватывает почти тридцать лет жизни автора: начинается с Первой мировой войной и заканчивается в начале Великой Отечественной. Однако ни в первоначальном виде, ни в полном объёме она никогда не публиковалась. Да и вряд ли это было возможно. «Мои записки» непринуждённые, откровенные, доверительные и к тому же избобилуют, как и ранние стихи автора, политически некорректными именами и событиями, о которых в советской печати умалчивали. Особенно интересны первые две части. Они – дань друзьям молодости, некоторые из которых покинули Россию и оказались надолго, а то и навсегда вычеркнутыми из истории русской культуры.

Повесть написана в июле 1953 года. 5 марта этого года умер Сталин. Связь между событиями несомненна. Завершился важный период истории, участником которого был и поэт Павел Антокольский. Складывается впечатление, что в этой повести он собирает воедино свою жизнь и личность – так переживший стихийное бедствие, когда самое страшное уже позади, ощущывает себя, проверяя, цел ли. «А совесть у меня цела?» – словно спрашивает себя Павел Григорьевич и отвечает всем текстом своих воспоминаний: «Да, цела».

Жизнь П.Г. Антокольского совпала с бурной эпохой в жизни страны – эпохой, вместившей и большие надежды, и большой страх, и большие потери, и большое искусство. Всё это пришлось пережить и ему, всему он был причастен. Единственный сын погиб в бою, погиб от рук фашистских захватчиков в числе тех неслыханных миллионов, чьими жизнями страна заплатила за предательства и тупость своих вождей. В память о Володе Антокольский написал поэму «Сын», ставшую Реквиемом по всем погибшим. За поэму он был удостоен Сталинской премии, но... второй степени. А вскоре развернулась политическая кампания против «космополитов», и гибель сына не защитила отца от нападков: его заклеямили

«буржуазным формалистом» и отлучили от поэзии¹. Прошли годы, старый поэт получил и заслуженное признание и награды. Правда, награждали его скуповато – с оглядкой на подозрительное прошлое. И книги его публиковали умеренными тиражами. В советское время тиражи определялись не читательским спросом, а мнением начальства. Купить сборник стихов Антокольского в обычном книжном магазине было практически невозможно. Даже вышедший после смерти поэта сборник воспоминаний о нём имел очень скромный тираж – 30 тысяч экземпляров. Несмотря на то что сборник пользовался большой популярностью и его быстро раскупили, разрешение на его переиздание получено не было. Поэт так никогда и не стал для властей своим.

Его творческий путь начался в предреволюционной России. Он – свидетель русской революции и Гражданской войны. Его стихи, написанные в тот трагический для отечества период, и последующие воспоминания о том времени не увидели света, подавленные царившей в стране политической цензурой, а вследствие этого и самоцензурой. Сегодня, когда происходит переосмысление советской эпохи, неизданные произведения одного из ярчайших её поэтов своевременны и важны.

П.Г. Антокольский сохранил свои старые рукописи как память о дорогом ему прошлом. И, может быть, он надеялся, что потомки в третьем тысячелетии, уже не опасаясь ни сталинских репрессий, ни брежневского застоя, беспристрастно прочтут его труды и найдут им подлинное место в русской литературе. А нам хотелось бы, чтобы сегодняшние читатели поняли, как надломлен был многолетним страхом этот яркий и талантливый человек. И как много, несмотря ни на что, он сумел сказать.

Андрей Тоом
профессор

Государственный Университет Пернамбуко, Бразилия

Анна Тоом
профессор

Международный Университет Туро, США

СТИХИ



¹ *Грибачёв Н.М.* Против космополитизма и формализма в поэзии // Правда. 1949. 16 февр. (Статья секретаря партбюро СП СССР. Фонд А.Н. Яковлева. Документ № 113.)

«Я НАПИСАЛ СВОИ СТИХИ...»

Стихи 1915 года

* * *

О, как трудна и как отрадна
Дорога юности для нас!
Но что же будет через час?
Уже уходит Ариадна.
Уже в пустыне коридора
Её шагов не отличить.
Уже едва белеет нить,
Виясь по лабиринту спора.
Летейских вод не потревожим,
Забвеньем бедным порастём.
Мы тайну знаем и несём,
Но сохранить её не можем.
1915

НАИГРЫШ

Я – это мир. Но в мире нет меня.
Я выпил кубок снега и огня.
Рассказ стихий расскажут вам стихи,
И будут строфами мои грехи.
И строем строф пройдут набаты выюг,
И станет нов мне каждый старый друг.
Я – злой старик с собакой на углу.
Я – паруса, идущие во мглу.
Я – птица ночи в синих облаках.
И я – инфанта с куклою в руках.
И много раз еще я буду жить,
И много раз я буду вам служить.
Вы слышите? Мне девятнадцать лет,
И говорят, я недурной поэт.

Вы слышите? Какое торжество!
Я – это я. И больше ничего.
Октябрь–декабрь 1915

* * *

На косогор придёт.
Зачем, кто знает?
Над кручей запоёт.
О том, кто скажет?
Высоко ель растёт.
Зачем, кто знает?
Нас время заметёт.
Куда, кто скажет?
1915

* * *

Эй, Бутафор! Грозу устройте.
И в тесноте лесных кулис
Бенгальским светом удостоите
Своих актёров и актрис.
Послушайте! Мы очень просим
Задёрнуть занавес теперь:
Нас было сто, а стало восемь.
И для чужих – закрыта дверь.
Мы смеем делать, что угодно,
И даже плакать. Но для Вас
Не будет ли простонародна
Комедия ночных проказ?
Покойной ночи! Спите в тучах:
Ведь это – Ваше ремесло.
А нам – и в сказках самых лучших
Не слишком сладко и светло.
1915

КОРАБЛИ
отрывок из поэмы

Он приходил ко мне неслышно ночью.
Всегда молчал, всегда глядел в окно.
Всегда чертил в альбоме корабли
На острогрудых волнах; ровно в полночь

Внезапно он прощался. И в окне
Я долго видел чёрный силуэт
В смешном плаще, в широкополой шляпе.
Он незаметно для меня входил
В мои дела. И стало мне страшнее
Глядеть на мир. И мне хотелось вдаль,
В другие страны, к синим островам.
Хотелось видеть парусные яхты
И гаваней восточных пестроту.
Хотелось слушать голоса сирен
И переклички воинских сигналов,
И рокоты прибороев острогрудых.
И собеседник моего молчанья
Стал мне шептать о странах без названья,
И мне являлись в золотой пыли
Всё те же голубые корабли.
Когда же страсть, невинней и прелестней,
Чем ранние, предутренние песни,
С моей весной сплела свою весну
И вновь ушла в свою голубизну, –
Когда я рос тоскующим и томным,
Вдали от моря в городе огромном
На севере в бреду спокойных лет,
В стенах разлук, тогда я стал поэт.
Идут года. Вот я уже не мальчик.
Гляжу на жизнь – и вижу балаганчик.
Гляжу в лицо подруги – и в бреду
Всё чудится, далёкой не найду.
И много строф негаданных теснится,
И много встреч недостижимых снится,
И много лиц проходит предо мной,
И груды книг растут сплошной стеной.
Осень–зима 1915

В ЦИРКЕ

Я помню трёхцветный каскад,
Бельгийскую ленту вокруг талии,
Её просвистевший канат
И дикое сальто-мортале.
А голос пронзительно пел
В дыму электрической ночи

О том, что весёлый удел
Мышиного писка короче.
И там, на песке золотом,
Где красные фраки глазели,
Стегал по опилкам хлыстом
Двойник синеглазой газели.
И пела, и пела всю ночь
Звезда, пролетевшая низко,
Она, королевская дочь,
Бельгийская эквилибристка.

1915

* * *

Ни Золушки шаги по пыльному паркету,
Ни палевый рассвет в гирлянде облаков
Не потревожат сна и не нарушат эту
Беседу чопорных и глупых стариков.
Она прошла, как тень, в одной стеклянной туфле.
Ей звякнули в ответ часы из пустоты.
И жирандоли их метнулись и потухли
Склоняя фитили, как рваный шарф шуты.
Она прошла, как тень, по пыльному паркету.
Кольцо ливрейных слуг сомкнулось. А потом
Куда-то в новый сон везли её карету,
И прозвенел рожок за поднятым мостом.

1915

* * *

И вот к нему явилась Королева,
Сказала: Кай, составь мне слово «Вечность».
Он помнит: анфилада – бесконечность.
Там сотни зал – направо и налево.
И странный сон растёт. И злится вьюга.
И видит Кай: под бабушкины сказки
Уснула девочка, его подруга,
Сестрица Герда. Снятся ей салазки,
Разбойники, олень, большая птица –
Тот ворон чёрный с докторским наклоном,
Ей снится жизнь и небо с миллионом
Падучих звёзд. И голос Кая снится.

1915

ШЕКСПИР

Он был никто – безграмотный бездельник,
Стредфордский браконьер, гроза лесничих,
Веселый друг в компании Фальстафа.
И кто ещё? Настоячивый вздыхатель
Какой-то смуглой леди из предместья.
И кто ещё? Готический король,
Актёр на троне в мантии лоскутной,
Хромой урод – с душой как ад распутной.
И выше – Принц, забывший свой пароль,
Чья шпага – истина, чей враг – король,
Чей силлогизм столь праведен и горек,
Что от него воскреснет бедный Йорик.
Иль это – недоигранная роль?

1915

ГАМЛЕТ

Марионетка позабыла роль.
Марионетка опустила руки.
Другие куклы – дамы, сам король –
Шептались: это от большой науки.
И вот она проходит, волоча
Свой траурный, свой бедный плащ тревоги
По сцене. И от лунного меча
Мир стал тюрьмой, и подкосились ноги.
Что вы прочли? – Слова, слова, слова.
Покойной ночи! – Нет, я умираю.
И умер шут. И выросла трава.
Эй, занавес! Я больше не играю.

1915

ВЕЛАСКЕС

О, как обречены на траурных портретах
Инфанты, карлики, дуэньи и алькады
В брабантских кружевах и бархатных беретах.
Там, в дымной глубине несутся кавалькады,
Блистают празднества в садах Аранхуэца,
В мятежной Фландрии пылают баррикады
И громоздят костры, не смея оглядеться,
Во имя Господа севильские монахи.

А здесь – они навек, виденья Веласкеса,
 Навек осуждены, и будут жить, и в страхе
 Глядят во мрак времён. И видят поколенья,
 Идущие в Музей к их золочёной плахе,
 К жестоким образам Тоски и Вырожденья.

1915

* * *

Ночь протекла. Горит одна свеча.
 Считаю вслух, бледнея от азарта,
 В последний раз вы стасовали карты –
 И кинули червонцы сгоряча.
 Вы плачете? Снимите вашу маску.
 Я узнаю вас, молодость мою,
 Вы лгали мне и, торопя развязку,
 Сказали правду бедную свою.
 Ночь протекла, и с нею – сновиденья.
 Есть между нами Третий? Что за вздор!
 Гортанный крик – и кончен разговор.
 Последний поцелуй – за представленье.

1915

* * *

Был вечер, вымазанный сажей,
 Дорожный сумрак впереди
 И траур облачных плюмажей
 Сквозь кособокие дожди.
 И мы, сложив покорно руки
 И скоротав дремотой путь,
 Словами вышивали звуки
 И песней надрывали грудь.
 Ты пела – над дорогой тёмной,
 Над многовёрстной быстротой,
 Над жизнью – праздничной, нескромной,
 Бездомной, дикой и пустой...

1915

* * *

День деревенской бедной сырости,
 Мой песенный далёкий путь –

Как высоко ты должен вырасти,
 Чтобы до сердца доплеснуть...
 Смотрю – над желтизной песчаника,
 Над набережной крутизной
 Уводит и морочит странника
 Звенигородский белый зной.
 И всё гремит и всё проносится,
 И всё ещё не доплыла
 Великая разноголосица.
 И всё поют колокола.

1915

* * *

Г. Завадскому

Дождь бьёт в стекло. Удушье черноты.
 Стучит в стекло чугунный перстень Вия.
 Припоминают люди, как впервые,
 Своих портретов страшные черты.
 Чадит свеча. Шатаются кресты.
 Летят стрелой дороги столбовые.
 Встают на зов и топчутся кривые
 И заспанные тени пустоты.
 И бедный Смех проходит, спотыкаясь,
 Уродливый, со скрипкой и горбом,
 Как Хлестаков, во фраке голубом.
 И облака, шурша и задвигаясь,
 Повисли над линючей пестротой,
 Как занавес комедии пустой.

1915

* * *

Я бы хотел противоречить всем,
 Быть мерзким пугалом добросердечью,
 Поставить кривду выше теорем
 И кверху дном – своё противоречье.
 Я бы хотел, чтоб истина была
 Разгадана, заключена в игрушке
 И пополам сломаться бы могла
 Или растаяла в руках простушки.
 Чтобы потом, наладив механизм
 И приведя колёсики в движенье,

Ребёнок строил новый силлогизм
И изменил таблицу умноженья.
1915 (1916)

* * *

Есть много на земле занятий и профессий,
Есть много ангелов, архангелов, чертей,
Поющих петухом, кричащих о Прогрессе,
Лохматых стариков и стриженных детей.
Есть много ярмарок и сотни колоколен,
И тысяча разлук и груды всяких бед –
Так отчего же ты сегодня недоволен?
Чего же здесь ещё не понял ты, поэт?
Какой тебе звезды? Вокруг, вверху кипенье
Безмерной глубины. И по утрам светло.
Терпенье до конца – терпенье и терпенье.
Есть у тебя вино, душа и ремесло.
1915

* * *

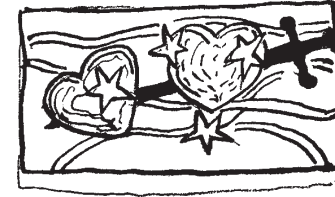
Всё, что осталось здесь от бедного рассказа,
От жизни и судьбы, в словах и между них,
И всё, что вы прочли – огонь, безделье, фраза,
Все очертанья букв и каждый детский стих, –
Пусть вьётся по ветру осенним листопадом!
Дорога далека. Успеем отдохнуть.
Миллиарды мертвецов воскреснут этим ядом.
А то, что здесь горит, – мне освещает путь.
1915

* * *

Король упал. Он был в своей прекрасной
Расшитой мантии. И он упал,
Как заводная кукла. Жёлто-красный
Атласный шут над трупом танцевал.
Уже неслись, трубя и громыхая,
Над ратушей подняли чёрный флаг.
Двенадцать раз пролепетал вздыхая
Те Deum* убегающий монах.

* Сокр. от Te Deum Laudamus – Тебя, Бог, Хвалим (лат.); из христианского гимна.

Прошли века. И навсегда остались
Безмозглый шут и королевский труп.
И в вихре демонического вальса
Сбегает пена с слишком красных губ.
1915



МАГИЧЕСКОЕ

Среди созвездий Зодиака
Есть неизбежный путь.
И сердце – нищая собака –
Не смеет отдохнуть.
И кудри чёрные с другими
Седыми сплетены.
Пусть встанет рядом Божье Имя
С названьем сатаны!
И плачет девушка за прялкой,
О, как ей долго ждать,
Как много надо спрясть, как жалко,
Как страшно отгадать.
И где-то там, так сердцу снится,
В далекой стороне,
Недостижимый всадник мчится
На голубом коне.
Так и идут в пролётах бури
И плачут без конца
Два странника земной лазури,
Два сердца близнеца.
Два сердца лгут одно и то же,
Скрестились два клинка.
Ты слышишь ли, о Боже?
Дорога далека...
Октябрь–декабрь 1915



ТАК Я БОГАТ

Я злой колдун, я царь земли проклятой.
В моих подвалах спят руины слов,
Колчаны выюг, соблазны городов,
И я живу, как Арлекин горбатый.

Но в глубине одной моей палаты
Спит девушка светлее облаков,
И ярче звезд, и солнечней снегов,
И сладостней моей струны крылатой.

Так долго спит. Я познаю мечты, –
Идут, сменяя домино и позы
Крикливых масок шумные черты.

И книжный бред кропят живые слёзы,
И выросли в тюрьме сонетов розы –
Старинный знак Любви и Чистоты.

Октябрь–декабрь 1915

* * *

Ю.А. Завадскому

Инфанты бледные с точёными руками,
Горбатых карликов выслушивая лесть,
Уже солгали вы невинными устами
И в книге спрятанной прочли о смерти весть.

Большие девочки, узнавшие так много,
С глазами мучениц, идущих за Христом;
Вы – сёстры Золушки, вы просите у Бога
Послать Вам вестника с хрустальным башмачком.

Завивши локоны и пудренные букли,
Зачем следите вы, как падает звезда?
О чем вы плачете – о жизни или кукле?
День Благовещенья не минет никогда.

Октябрь–декабрь 1915

РЕШЕНИЕ

Так. Есть огонь свободы и разлуки
Среди огней судьбины огневой.
Есть долгий путь, есть светоч полевой.
Ты строишь жизнь? Прими же грусть и муки.

Так. Не удержишь ласковые руки,
И некому сказать «навек твои».
Пусть каждый сам торгуется с судьбой.
Мы все одни. Нет круговой поруки.

Для юности – влюблённость и отвага.
Для матерей – испытанная боль.
Для Гамлета – отравленная шпага.
У каждого написанная роль.

А кто же ты? Ты хочешь знать? Изволь!
Ты – сотый островок Архипелага.

Октябрь–декабрь 1915

РАЗГОВОР У ПОДЪЕЗДА

Опусти золотые ресницы!
Понял я твой немой приговор.
И уйду. Нам недолго проститься.
И не страшно забыть этот вздор.

В этом мире сошлись мы случайно,
И случайно читаем в сердцах,
Что у каждого грустная тайна
Утонула в весёлых глазах.

Ну, а дальше? Там снег и ненастье,
И конца не увидеть пути.
Дай мне милую ручку на счастье!
Если надо прощать, то прости.

Октябрь–декабрь 1915

А ПИППА ПЛЯШЕТ

Она приходит в быстром танце
И, пролетая в снежной мгле,
То глянет в зимнее оконце,
То припадёт опять к земле.

Она постигнет без усилия,
 Она раздвинет небеса;
 У ней серебрянные крылья
 И дымно-серые глаза.

А под плащом кинжал отваги.
 И так ведётся издавна,
 Что кубок огнемельной браги
 Подаст сражённому она.

И перед смертью поцелует.
 Не слишком поздно ли? Так что ж.
 Пусть каждый верит и тоскует!
 Когда придёт, тогда поймёшь.

Октябрь–декабрь 1915

ДВОЕ

Король забавляется песней,
 И вот по веселым дорогам
 Сзывают на праздник рога.

Король забавляется славой –
 И вот по стране деревенской
 Сзывают на битву рога.

Король забавляется страстью, –
 И вот о печальной невесте
 Рокочут глухие рога.

Поэт забавляется песней, –
 Бродягам и всем, кто захочет,
 Подарит он спьяну стихи.

Поэт забавляется славой, –
 А друга увидит, тот спросит:
 Когда же издашь ты стихи?

Поэт забавляется страстью...
 Поймёте вы всё остальное,
 Прочтя остальные стихи.

Октябрь–декабрь 1915

ТАК ОНА БОГАТА

У Смерти есть свой хриплый рог.
 Ты знаешь песни обреченных –

Больных, испуганных, влюблённых
 На перепутьях дорог.

У Смерти есть свои герольды,
 Падучих звезд несчётный рой,
 Кристаллы слёз, что жгут порой,
 И злые горные кобольды.

У Смерти есть своя страна,
 Где по ночам бушует вьюга
 И где единственного друга
 Душа узнать осуждена.

Октябрь–декабрь 1915

* * *

Мой ржавый меч – любовь. Кто знает меч чудесней?
 Ты споришь? Так пускай сам Бог рассудит нас.
 И если надо жить – я знаю много песен,
 А если умереть... споём и в смертный час.

Я в этот мир пришёл, как на турнир великий.
 Мой самый первый тост – за прелесть юных жён.
 Второй – товарищам моей отваги дикой.
 И третий – за того, кто нами был прощён.

Когда придет пора, когда настанет битва,
 Когда прольется кровь за наш Ерусалим, –
 Тогда припомню я, что есть ещё молитва,
 И что крестовый меч в грозе неопалим.

А нынче пусть в вино подмешана отравка!
 Я первый посмеюсь над песней нищеты,
 Над папою святым, под мессою гнусавой,
 Над тем, что я люблю и что не любишь Ты.

Октябрь–декабрь 1915

* * *

Самый живой и самый странный
 Товарищ моего пути!
 Ты глянешь девою желанной,
 Ты ранишь болью несказанной,
 Ты манишь светом впереди.

Грустишь – и вон идут заботы.
 Уснешь – и тянутся года.

А засмеешься – канут годы,
 Но я ещё не знаю, кто ты,
 И не узнаю никогда.
 Я только слышу в пирном блеске,
 В разгаре танцев и утех
 Твой крик – магический и резкий,
 То песню траурной Франчески,
 То Коломбины звонкий смех.

О, пой! Вонзай в меня измену!
 За то, что я больной и злой,
 За то, что я покорен плену,
 Что я из книг построил стены
 Между твоим лицом и мной!

Октябрь–декабрь 1915

ПРОБУЖДЕНИЕ

Никогда тебя я не увижу,
 Никогда не встречу на земле.
 Только будут ангелы всё ниже
 Пролетать за окнами во мгле.

Ах, как грустно. И никто не знает,
 И никто не может утешать.
 Только видишь: время ускользает
 И грустит взволнованная мать.

Я пройду, как все мы, не оставив
 На пути и малого следа,
 И мечты о женщинах и славе
 Канут в мир, как падает звезда.

Злая боль сдает дни и годы,
 Я навеки Твой. А Ты – ничья.
 И в лицо безжалостной природы
 Брошен поздний вызов: это – я.

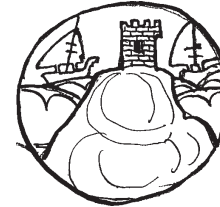
Октябрь–декабрь 1915

ТВЁРДОСТЬ

И я не знаю кто я. Быть может, сновиденье,
 И чей-то знак... Но чей?
 Но все мои владенья и всё пережитое,
 И грёзы всех ночей

Я отдаю за твёрдость, за правду о грядущем,
 За разговор с судьбой.
 Я отвергаю гордость. Я не хочу быть лучшим.
 Я буду сам собой.

Октябрь–декабрь 1915



ЮНОСТЬ

Пройти метель судьбы и полдень райских роз,
 Пройти подземный мрак и райскую дорогу,
 Искать Её везде, молиться Ей и Богу,
 И в строфы претворить магический вопрос.

И знать: Она простит. И давнюю тревогу
 Волшебнo отведёт от набежавших слёз.
 И в медном золоте струящихся волос
 Припомнит наконец и Имя и Дорогу.

Но это там, в конце... Крестовый путь в начале.
 Мой рдяный Солнцебог не перешёл зенит.
 И струны, что поют, о главном умолчали.

И стаи кораблей томятся на причале...
 Но если надо плыть – под ветром зазвенит
 И будет парусом струна моей печали.

Октябрь–декабрь 1915

КОЛОМБИНА

Вы думали, Пьеро, что это только поза?
 И вы поверили, что я всегда лгала?
 И вы не видели, как расцветала роза,
 Как в сердце нищее вся нежность низошла?

Вы не могли любить, в мою любовь не веря.
 Так знайте: я лгала, я не любила вас.

Не правда ли, Пьеро, ничтожная потеря –
Вы всё предвидели? Вы ждали этот час?

Вы жалкий трус, Пьеро... Весёлый от безделья,
И дерзкий оттого, что слишком я нежна.
Я разгадала вас: вам надобно похмелье,
Но что же делать нам, коль в кубке нет вина?

Я уйду от вас. Я – только Коломбина.
Я отдаю любовь за страсть, за знойный взгляд.
Кто больше даст монет, кто больше серенад
Споёт мне под окном, тот будет Арлекином!

Октябрь–декабрь 1915



COMMEDIA DELL'ARTE

Пьеро: Арлекин! Я услышал, о чём вы шептали.
Коломбина! Позор: вы его целовали.
Вы думали, я не умею любить?
Вы думали, я не посмею убить?

Коломбина: Пьеро! Мой печальный товарищ, мой милый,
Не плачь! Мы шутили. Ведь это – игра.

Пьеро: Довольно! Игре прекратиться пора.
Всю жизнь претворяться незрячим нет силы.
Сегодня я правду вам брошу в лицо!
И с правдою вместе подруге кольцо,
А другу – свой вызов. Пусть шпага рассудит...

Арлекин: Прекрасно! Я это предвидел давно.
Прости, Коломбина!

Пьеро: Она ведь забудет.
Игру или жизнь забывают равно.
Я жил.

Арлекин: Я играл.

Коломбина: Я любила.

Арлекин: Кого же?
Меня!

Пьеро: Нет, меня!
Коломбина: Может быть, никого!

(Делает им нос и убегает.)

Пьеро: Она убежала навеки... О, Боже!..
Арлекин: Так чья это гибель? И чьё торжество?

(Дерутся. Пьеро падает мёртвым.)

Арлекин: Ушла Коломбина. Пьеро умирает.
Не плачь, Арлекин. Далеко до конца.
Иди и не бойся: пылают сердца,
Но сердце твоё никогда не стораёт.

(Уходит, звеня бубенцами.)

Над мёртвым Пьеро склоняется Коломбина и целует его в лоб.)

Октябрь–декабрь 1915



ПЬЕРО УМИРАЕТ

Больше не надо грусти.
Я уйду за ней.
Что же, простимся скорей
Без необычных напутствий.

Разве не всё вам равно –
Встретить на улице друга
Или услышать, как вьюга
Будет стучаться в окно.

Это зовётся у вас
Смертью печальной и гадкой.
Или туманной загадкой,
Или безумством на час.

Я попрошу, как друга,
В смерти моей не винить
И поскорее забыть,
Что написал вам стихи я.

Там в тишине гробовой
 Я посмеюсь над минувшим.
 Чтобы казаться уснувшим,
 Выставлю нос восковой.

Только, друзья мои, знайте:
 Я ворочусь поутру
 Кончить ночную игру...
 Эй, Коломбина! Прощайте!

Октябрь–декабрь 1915

* * *

Прильнул бы к алмазному кубку
 И выпил бы всю до дна,
 Тебя, золотая весна.

Но счастье неверно и хрупко.
 И каждая встреча, как сон.
 И я ни в кого не влюблен.

Мне хочется кубок алмазный
 В далекое море швырнуть:
 Пускай найдёт кто-нибудь.

Мне хочется сон неотвязный
 Другой, не твоей красоты –
 Бросить, как брошена ты.

1915

* * *

Всё в той же позе, с той же бедной розой
 Стоит всю ночь, одна, у фонаря.
 Мой старый дом приснился ей угрозой,
 И ей другие видятся края.
 И полночь бьёт тоскливыми руками
 И бьёт и бьёт в свой бубен дождевой.
 И тяжело висят под облаками
 Весенний дождь и город роковой.
 И снится ей, и снится ей, и снится
 Всё тот же сон. И ждёт она всю ночь.
 Она уйдёт и в дверь не постучится.
 О, если бы я понял, как помочь!

1915–1916

СТРАНСТВУЮЩИЙ ПРИНЦ

1.

Когда они нашли в заброшенной часовне
 Рукой изгнанника изображённый лик,
 Старик Король спросил: Что значит сей шиповник
 В девической руке? (И был смущён старик.)

И чьё это лицо, Киприды иль Мадонны,
 Иль русой девочки за прялкой золотой, –
 Я отыщу её – порукой честь короны –
 На небе иль в аду, блудницей иль святой.

И он унёс портрет в одну из зал зеркальных,
 Ушёл от важных дел и войн на целый год.
 Стал мастерить часы и глобус сфер астральных
 И вызвал дьявола (так говорил народ).

Потом пронёсся слух – никто не знал, откуда, –
 Что эта девушка живёт в другой стране,
 И кто-то говорил о недалёком дне,
 Когда придёт она, когда свершится чудо.

2.

И тронный зал внезапно опустел.
 Седой король, нахмутив брови, вышел
 И мне сказал, чтобы никто не слышал:
 – Мой милый сын, ступай в её предел.

– Найди её. Она в стране полярной,
 На островах Полночной звезды.
 Её хранят в пещере ночи льды.
 Мой милый сын! Иди за светозарной.

Вот Алый Крест сниму с моей груди,
 Вот острый меч с моей червлёной Розой.
 Зову тебя любовью и угрозой –
 Мой милый сын, далёкую найди!

3.

И я пошёл... Что было дальше? Помню
 Весёлый гул огромных городов,
 Свистки сирен, сады, каменоломни,
 Уступы скал и зеркала прудов...

Сменялись золотые панорамы
И свадебные пиршества и тризны
И поцелуи светлокудрых жён,
Но помнил я лицо Единой Дамы
И помнил вопль покинутой отчизны
И знал, что путь далёкий не свершён.

4. ПЕСНЬ СТРАННИКА

Так суждено. Когда нахлынут
На этот путь Её лучи
И стены горести раздвинут
И загорят в моей ночи, –
Тогда мой рог, мой панцирь бранный,
Мой Алый Крест, мою любовь
Я принесу моей желанной,
Чтобы любить и верить вновь.

О, если ты увидишь в тучах
Мой трудный путь, то помани
В словах высоких и певучих,
В своей молитве эти дни!
О, если ты услышишь в буре
Мои слова, – явись ко мне,
Из Царских Врат твоей лазури
В зелёный луч, к земной весне.

5.

Старинный труп нашли в снегу,
Похоронили по обряду
И на далёком берегу
Забыли древнюю балладу.

Ушли на Запад корабли,
И только странник над могилой
Поёт о ней, поёт о милой
Всем девушкам своей земли:

– Она никогда не услышит
И радостью не встрепенётся
В постели своей голубой.
Лежит – не проснётся, не дышит
И больше к тебе не вернётся,
И больше не будет с тобой.

Но в мире зимы и разлуки,
Скитаясь из города в город,
Я помню завет Короля.
Провижу далёкие руки
И славлю твой сумрак и холод,
Чужая, святая земля.
И если не будет свиданья,
О милой невесте вздохну я
И с песней надежды усну.
И если не кончу скитанья, –
Отцовскую Розу снесу я
В её голубую страну.

Осень–зима 1915

* * *

Была ли правда суждена
Или обман зеркал, –
Но я поверил: вот она!
Но почему же так бледна,
И ту ли я искал?

Потом нехитрую игру
Я разгадал, как все.
И были письма поутру,
И были встречи ввечеру
За парком, на росе.

Когда мы встретимся теперь,
Не закрывай лицо,
Не запирай плотнее дверь:
Я не спрошу тебя, поверь,
Про новое кольцо.

Осень–зима 1915

* * *

Я к истине твоей не приспособлен.
Ну что же в том, что наша жизнь – игра,
Что лучший друг актёру уподоблен,
Что мы умрём, когда придёт пора.

Пускай умрём, но нынче – Бог свидетель! –
Твой поцелуй дороже истин всех.

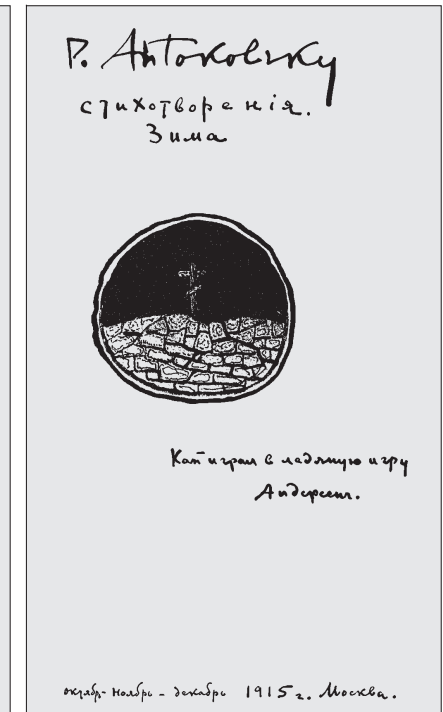
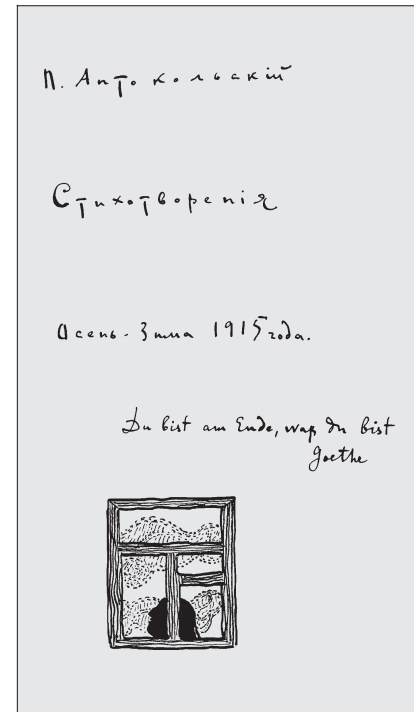
И я готов простить и добродетель,
 Чтобы понять, что значит смертный грех.
 1915

* * *

Я видел океан неукротимой Воли
 И Бога – в рубище прекрасной нищеты
 И понял, что туда, где обитаешь Ты,
 Не будет выхода из жизненной неволи.
 И был я изведён в неведомое поле,
 Где сонмы звёзд рождались из мечты.
 Шли дни. Ты плакала от гордости и боли.
 Я громко звал Тебя. Не откликалась Ты.
 Мне рассказала жизнь всю правду: Ты ушла.
 Ты – дьявольская ложь. Ты – злое наваждение.
 Ты – бред. Ты – детский сон. Ты мне всегда лгала.
 В земной обители ты – смерти отраженье.
 Никто не звал Тебя! Зачем судьба свела
 Меня в моём пути с Твоею страшной тенью?
 Октябрь–декабрь 1915

ПОСЛЕДНЕЕ

Я написал свои стихи.
 Похвалите за усердьё
 И увенчайте их
 Нечаянной смертью.
 Вы, господин Бог,
 Бываете очень милым,
 Когда уносят гроб
 И говорят: спи с миром.
 Какой же я дурак!
 Все думал: счастья нет ли?
 И вместо невесты – трап,
 И вместо свадьбы – петля.
 Бог дал мне в эти дни
 Непосильную задачу.
 Разве это стихи?
 Это я плачу.
 Октябрь–декабрь 1915



«ДАЛЕКО ЭТО БЫЛО ГДЕ-ТО...»

Стихи 1916–1917 годов

* * *

Далеко это было где-то.
А быть может, вчера?
Золотое, детское лето,
А потом зима, доктора...

И за окнами – гулкий и страшный
Дождевой перезвон.
Словно рушится день вчерашний
И трещит деревянный балкон.

На этом балконе дядя
Рисовал много раз.
Мне было пять лет, а Надя
Только что родилась.

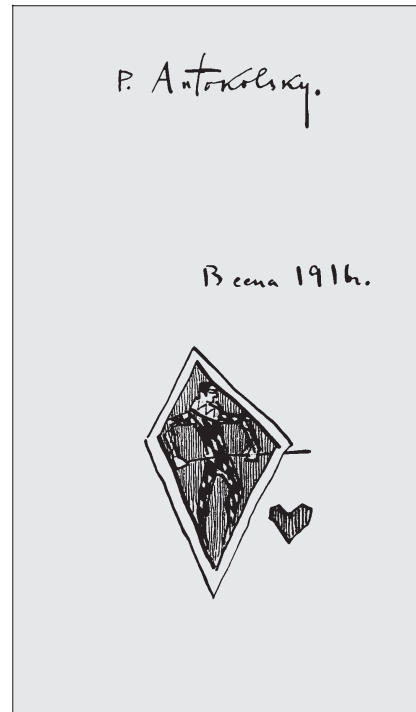
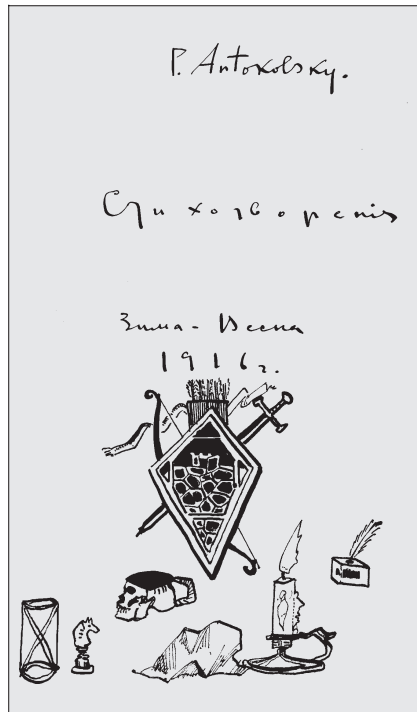
Весна 1916

* * *

Гимназический двор. Весна.
Жёлтый флаг у футбольных ворот.
На далёкой скамейке она
Повторяет свой перевод.

Ехеги monumentum*
Повторяет и пишет в тетради.
А теперь я студент,
А она живёт в Петрограде.

Весна 1916



* Я воздвиг памятник (*лат.*) – строка из оды Горация (65–8 до н. э.), поэта «золотого века» древнеримской литературы. Выражение «Ехеги monumentum» Антокольский сократил для рифмы и ритма стиха, отметив это апострофом.

* * *

Что значит год? Спроси у книг –
 И числа станут в ряд.
 Спроси у звёзд – ответят, миг!
 А люди связками вериг
 Печально загремят.
 А что ответит сердце мне?
 А сердце не заплачет.
 А сердце вспомнит о весне,
 А остальное – спрячет.
 Расскажет, как разбил апрель
 Стакан, шипя и пенясь,
 Как проходил февральский хмель
 И как играл я в теннис.
 Что значит год? Что значит час?
 О чём томится грудь?
 Не надо спрашивать сейчас:
 Поймём когда-нибудь.
 И всё стремительней рассказ,
 Всё дальше, дальше путь.

Зима–весна 1916

* * *

Ни Данта медного рассказ неумолимый,
 Ни слёзы Гамлета о бренности земной,
 Ни хоровод времён, ни голос твой любимый
 Не могут разомкнуть моей темницы злой.
 Я слишком долго спал среди томов тяжёлых.
 Ты двери заперла и, не отдав ключа,
 Ушла, когда я спал. А в городе весёлых
 Не плачут, а поют – или ещё молчат.
 Когда проснулся я и посмотрел на солнце,
 Давно к заутрене пропели петухи.
 Я вспомнил про тебя, открыл моё оконце
 И свой последний сон переложил в стихи.

Зима–весна 1916

* * *

Новый Год – это новое счастье.
 Новый Год – это тоже весна.

Это, может быть, Ваше участие,
 Ваша роза в бокале вина.
 Новый год – это голос метели.
 Это ночь, что должна быть светла.
 Это, может быть, праздник без цели.
 Это, может быть, всё-таки мгла.
 Новый Год – это снова изгнание.
 Это – знак, что уходят года.
 Это, может быть, напоминание,
 Что я Вас не найду никогда.

Зима–весна 1916

* * *

Л. Антокольскому

Мы живём. Мы проходим во сне
 Мимо древних цеквей, мимо башен,
 Мимо ваших селений и пашен
 И тоскуем о нашей стране.

О полях золотого Сарона,
 О веках, что гремя отошли,
 И о девушках, что умерли,
 И о песнях царя Соломона.

Мы умрём. Мы пройдем мимо вас,
 Как забытая вечность. Но каждый
 Обернется взглянуть хоть однажды
 В непроглядную мглу наших глаз.

Зима–весна 1916

* * *

Я знаю дьявольское чудо
 Раскаянья во всём.
 Я слышал голоса оттуда,
 Куда мы все идем.

А то, что я люблю смеяться,
 Что я сжигаю дни...
 О, Боже! Бедного паяца
 За это не казни.

Я не хочу служить как надо:
 Молиться по утрам,

Гулять по маленькому саду
И украшать Твой храм.
И слаще всякого виденья
Есть у меня мечты,
Что посетишь мои владенья
Когда-нибудь и ты.
Я приглашу Тебя, наверно,
На свой последний пир.
И расскажу о том, как скверно
Устроен этот мир.

Зима–весна 1916

* * *

Т.С. Игумновой

Она жила. Она звалась Татьяна.
Давным-давно она в земле сырой.
Она пришла из зимнего тумана,
Из вымысла старинного романа
И пела песни с русою сестрой.

Она любила святки и гаданья,
И санок бег, и лепет бубенца.
Всю жизнь ждала. Сбылись ли ожидания?
Чего ждала? Какое обещанье
Сплелось с тоской венчального кольца?

Вы, девушки, чьи песни в снежной выюге
Напомнят нам её любовь и грусть,
Молитесь за неё в девичьем круге,
Молитесь ей, царевне и подруге,
Её слова читая наизусть.

12 января 1916

* * *

Есть знаки времени. Есть голоса пространства.
Незримых пламеней великий переклик.
Есть в каждом атоме – живое постоянство,
За каждым откликом – невидимый двойник.

Вода текучая струится и смеётся,
И выюга путников зовёт по вечерам,

И плачет девушка у тёмного колодца,
И гость неведомый стучится в Божий храм.

И тайной мудрости и тайных соответствий
Душа исполнившись, в кого-то влюблена.
И дни сплетаются как будто в раннем детстве,
И в небе утреннем опять голубизна.

Зима–весна 1916

* * *

Чурлёнис шёл по Млечному пути.
Он увидел рожденье звёздной бури.
И ангелы из золотой лазури
К его ногам пытались снизойти.

И говор волн, и рокот струн ещё
В его ушах звучали наважденьем,
Но чей-то голос окрылил плечо,
Раздвинув мрак внезапным пробуждением.

И он сошёл зачем-то в этот мир,
И в заревах Любви и Созерцанья
Он повторил Искусством мирозданье
И созвал нас на свой богатый пир.

Идите все смотреть его картины
И в символах прочтите до конца:
Художник – путь. Но этот путь единый,
Единый путь распятыя и венца.

Зима–весна 1916

* * *

Как много вас сошлось: король с клюкой высокой,
Сестрица Золушка, горбун и гробовщик
И в саване Пьеро, обманутый жестоко,
И даже вы пришли с лорнетом, Дама Пик.
И каждый говорит. И каждый – мой двойник.
И каждый тянется из книжного истока,
А самого меня – нет под звездою Рока.
И я уже никто – ни мальчик, ни старик.
А вдруг я всё пойму? А вдруг когда-нибудь
В глухой полуночи я буду пробуждён
Твоим смычком, глухой скрипач туберкулёза?

И всё нелепей сон. Всё дальше, дальше путь.
В моих руках кинжал. Но это только сон.
И этот сон – не сон, а только чья-то поза.

Зима–весна 1916

* * *

Я глупый и пьяный матрос,
Попавший на остров колдуньи,
Тоскующий в зарослях роз
О родине в ночь новолуныя.
Я – школьник, не спавший всю ночь
Над томом Шекспира иль Данте,
Я знал королевскую дочь,
Я – карлик, влюблённый в инфанту.
Я – брат, позабывший сестру
И тайный обет расставанья.
Я скоро, наверно, умру
В каком-то семейном преданье.

Зима–весна 1916

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

Под лёгким флёром так бледна
И так мучительно прекрасна,
Святому чуду не причастна,
Она в мечты погружена.

А там, за окнами стоит
Позолочённая карета.
И он, пришлец иного света,
Всю ночь поёт, всю ночь не спит.

Алеет роза в волосах.
Ей снится вальс в знакомой зале.
И синий ангел у рояля
Над ней склоняется в слезах.

Зима–весна 1916

ИНТЕРМЕДИЯ

Чёрт отбежал и сел в углу,
Запятав мокрый хвост.

– Давай полезем мы во мглу,
Раздвинем по́лог звёзд?
– Мы будем вместе до зари.
Ты хочешь верить – верь.
Ты хочешь царствовать – цари!
Ты хочешь золота – бери!
А я захлопну дверь.

– Я в эти стены не впущу
Ни друга, ни отца.
Ты слышишь? Нет? Я замолчу,
Но будет так, как я хочу,
До самого конца.

Построишь ты тюрьму из книг,
Напишешь все стихи,
Уснешь под грудой вериг.
А я уж тут как тут – и вмиг
На каждый вздох – хи-хи!

Лентяй, урод, глупец, старик...
Я все обманы вижу.
Я – это ты. Я – твой двойник.
Ты спишь? Ты плачешь? Ты поник?
Склонись ещё пониже!..

Зима–весна 1916

* * *

Я искал тебя так долго в городах, домах и башнях.
Я весеннюю балладу перечёл двенадцать раз.
Но скользили незнакомки между замыслов вчерашних
И напрасно, словно шпаги, расходились встречи глаз.

Я ищу тебя упорно. Я смотрю в глаза всем встречным.
Если можешь мне ответить, если хочешь – выходи.
Если хочешь, буду умным, буду пьяным и беспечным
И каким тебе угодно, – всё равно я здесь один.

Как назвать тебя – не помню. Как порадовать – не знаю.
Как понять твой голос тёмный – не узнаю никогда.
Вижу стены, а над ними спит, как демон, полночь злая.
И летят в ночную пропасть, словно вóроны, года.

Зима–весна 1916

* * *

Муза! Ты будешь всю ночь,
 Будешь всю ночь за окном
 Петь об одном.
 Муза! Ты можешь помочь?
 Видишь, – я выстроил вновь
 Злую любовь.
 Видишь, я выстроил стены,
 В небо ушли перспективы,
 Старые строфы мои.
 Пенятся звёздные пены.
 Треплются конские гривы.
 В гавани спят корабли.
 Выше подняться не смею.
 Дальше увидеть нельзя мне.
 Крикну я громче – умру.
 Крут поворот галереи.
 Там, на кладбищенском камне
 Скоро увижу сестру.
 Муза! Постройка готова –
 Тёмное, злое жильё.
 Жду я заветного слова,
 Скажешь, посмотришь, – и снова
 Рушится царство моё.

Зима–весна 1916

* * *

В личине бесподобного дендизма,
 В наряде Арлекина, в гранях призм,
 В твоих затеях – горечь гамлетизма
 И этот путь – живой анахронизм.
 Всё, что слова ещё сказать не смеют,
 Расскажет взгляд, тоскующий и злой.
 Но час придёт, – ведь на земле стареют, –
 И ты поймёшь, что значит быть собой.
 Но раньше – сделай всё, что начертала
 Твоя судьба. И пей бокал до дна.
 Таким, как ты, раздумье не пристало,
 Хотя бы звал к раздумью Сатана.

Зима–весна 1916

* * *

Каждый раз сознать: это сон.
 Каждый раз. Так нам мир утверждён.
 Много вёсен пройти, много лет
 И увидеть, что лучшего нет.

И весёлая встреча в пути,
 И последнее эхо «прости»,
 И воскресное утро в снегу,
 И пастушья свирель на лугу.

И убогое в поле жильё,
 И закат, и корабль, и копьё –
 Это сон. Он зовётся судьбой
 ...И звонит, убегая, прибой.

Дальше гордо возносится сон.
 И шипит, издыхая, дракон,
 И мечами туман раздвоён,
 И лучами герой ослеплён.

Знойный день и ленивая ночь –
 Всё звонит и уносится прочь,
 И часы наблюдают свой путь.
 ...Ни проснуться, ни встать, ни вздохнуть.

Зима–весна 1916

* * *

А. Борисовой

Там, в звёздных пролётах испуганной Ночи
 Весь – в изломе закинутых, сдвинутых рук,
 Кто танцую ликует и целуя хохочет
 И протяжно звенит, как натянутый лук?

Убегает и вновь настигает по кругу,
 Рассыпает по звёздному лугу цветы –
 Мой весёлый товарищ! Арлекин – это ты?
 Я узнал – это ты! Я узнал и подругу.

Только мне не придётся быть с вами, поверь!
 Пропляшите свой танец полуночный оба.
 А Пьеро даже плакать не смеет теперь,
 Даже пикнуть не смеет из чёрного гроба.

Зима–весна 1916

* * *

В. Шестакову

Её глаза как два меча
 Из крови и железа.
 Коня пришпорив сторяча,
 Летит по Городу, крича, –
 И в крике – Марсельеза.

Когда она кричит назад:
 – Гей, кто нас ждет у входа?
 Звончее песни, ярче взгляд
 И гул народных баррикад
 Ответствует: Свобода!

И, опьянев как от вина
 В её кровавом свете,
 Испепелённая страна
 Главу склоняет, влюблена
 В любовницу столетий.

Зима–весна 1916

* * *

Пройти сквозь строй веков, сквозь тысячи обличий
 И в каждом зеркале свой образ отразить.
 В Татьяне Лариной, в Изольде, в Беатриче
 Мгновенной нежностью кому-то просквозить.
 В высоком терему, в мансарде ли поэта,
 В бреду ли города или в лесу зимой
 Понять вы можете: мне снилась только эта.
 И вдруг почувствовать, что вы пришли домой.
 Не знаю, почему, но знаю – это будет.
 Не знаю, как мне жить. Но если надо жить,
 То всю памятью о невозвратном чуде,
 Всем взрослым мужеством тебе одной служить.

1916

* * *

Эту песенку для Вас
 Десять раз повторим
 И за первенство не раз
 С Вами мы поспорим.

Если начал жить, не плачь:
 Горя не умалишь.
 Будет много неудач
 А весна одна лишь.
 В путь-дорогу в добрый час!
 Юность канет тенью,
 Бог печалится о нас
 И даёт забвенью.
 Ваше светлое крыльцо
 Там, за синим морем.
 Ветер снежный! Дуй в лицо.
 Мы ещё поспорим!

Зима–весна 1916

СВАДЬБА

Воспоминаям не волнуй!
 Я вспомнил всё зараз –
 И долгий, долгий поцелуй,
 И блеск огромных глаз.

Я вспомнил локон золотой
 И дрожь склонённых плеч,
 И там во мгле обет святой,
 И пламя жёлтых свеч.

И дождь, и мрак, и стук колёс,
 И чёрный лак карет,
 И недосказанный вопрос,
 И твой глухой ответ.

Я вспомнил страшный взгляд – туда,
 В слепую мглу судьбы.
 И страшный отклик: навсегда,
 Да, навсегда рабы.

Зима–весна 1916

ГОРОДСКАЯ НОЧЬ

Глазами роют мрак
 И крыльями сметают
 Созвездья, что ни шаг,
 И в звёздах смерть читают.
 И в черни смерть сквозит.

И стая ливней звёздных
 Над Городом висит
 Во мгле ночей морозных.
 Но трубы зорь смелей,
 И кажется, что некто
 На черноту полей
 Направил свой прожектор.
 И вольтова дуга
 Гигантским силуэтом
 Сквозь синие снега
 Мерцает в небе этом.
 И сотни лун зажглись,
 И сотни душ астральных
 Во мгле отозвались
 На трубы зорь венчальных.

Зима–весна 1916

* * *

Зачем ты приходишь? – Проститься.
 Куда ты уходишь? – Туда.
 Мне страшно с тобою, сестрица.
 О чём ты смеёшься всегда?

И полночь тупыми шагами
 По улице скачет вперёд.
 И девочка злыми глазами
 Следит, не настал ли черёд.

Она не поверит счастливым.
 Ей светлая жизнь не нужна.
 Не глянет и в очи красивым
 И добрым не будет верна.

И только ко мне постучится
 Спокойно, как царская дочь,
 И снится так странно, и снится,
 И снится мне каждую ночь.

И снится мне путь небывалый
 Сквозь вьюгу на чёрном коне
 И память о жизни удалой
 Проходит в замёрзшем окне.

Зима–весна 1916

* * *

Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann,
 In weißen und schleppenden Hemden.

*Goethe Totentanz**

Мы ждём у твоего порога.
 Так далеко ещё идти.
 О, не гони нас ради Бога,
 Пусты погреться и прости.
 Мы – дети ночи. Мы приснились
 Тебе на улице пустой.
 Мы в странной сказке притаились
 И в сказке встретились с тобой.
 Нас много – нищие русалки,
 Пьеро – удушенник, глупец,
 Слепая девочка и жалкий
 Король, разбивший свой венец.
 И Дон Жуан, во мгле метнувший
 Усталый взор из-под клинка,
 И принц, над книгами уснувший,
 И пьяный гость из кабака.
 И дальше – вечные скитальцы,
 Чья память кровью залита,
 Чьи странно скрюченные пальцы
 Не в силах сотворить креста.
 Пусты погреться ради Бога
 И до зари, и до зари
 О милых песнях и тревогах,
 О бедной жизни говори.
 Ведь солнце по утрам бессильно
 Вонзая свой старческий костыль
 Во мрак темницы замогильной,
 В зелёно-ржавую ковыль.
 Ведь так давно венки истлели
 И покривился серый мох...
 Ведь только трубы злой метели
 Слились в один протяжный вздох.
 Когда седая смерть кинжалом
 Проткнула мёртвые глаза
 И по её ланитам впалым
 Скатилась жгучая слеза.

Зима–весна 1916

* Они выступают парами – женщины с мужчинами, волоча свои белые саваны (нем.) – отрывок из поэмы Gëte (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832) «Танец смерти».

* * *

И вот опять, и вот опять,
И вот опять я в этом мире,
И вот опять на звонкой лире
Я смею струны оборвать.

И ты смеёшься мне в лицо
И, не расслышав бред невнятный,
Опять уходишь безвозвратно,
Бросая старое кольцо.

И нет конца, и нет конца,
И нет конца весёлым кликам,
И мне в моём томленье диком
Не разглядеть ещё лица.

Но это будет впереди.
Пока слова не отзвучали,
Мой друг, внимай мне, как вначале
И в шумный мир слепца веди.

Зима–весна 1916

* * *

Ты в хмельном запахе полуденных мимоз,
В далёком топоте военной кавалькады,
В закатном зареве и в пенье серенады
И в медном золоте струящихся волос.

Ты – профиль паруса, скользящего во мгле,
Ты – песня странника, ты – снежная долина,
Ты – преклонённая Мария Магдалина,
Ты – ангел, плачущий на небе о земле.

Ты можешь радовать, ты можешь снизойти,
Ты можешь встретиться на улице однажды
И ранить милостью. И обернётся каждый,
И будет ждать тебя ещё раз на пути.

Но всё, что прожито, является, как знак,
И учит мудрости и шепчет нам молитвы.
И сердце вещее, как будто после битвы,
В слепом отчаянии глядит в окрестный мрак.

Зима–весна 1916

* * *

Он всю ночь стоит у изголовья,
Сильный отрок с луком золотым.
Он поёт и шепчет. А над ним
Радуга, зажжённая любовью.

– Дева слабая! Ты видишь крест,
На груди – серебряные латы,
На щите – хранитель твой крылатый
И венец над полем зимних звезд.

Лишь к утру сомкнула ты ресницы.
Меч в деснице ярко запылал.
По земле цветущей ускакал
В новый путь возлюбленный и рыцарь.

Заиграла доблестная кровь.
В судный час его последней битвы
Стали башнями твои молитвы
И щитом – бессмертная любовь.

Зима–весна 1916

* * *

Она придёт в последней выюге
С кошницами бессмертных роз,
На звенья кованой кольчуги
Рассыпав золото волос.

И меч скользнёт в руке кровавой,
И упадёт Тангейзер ниц
Перед невинной и лукавой,
Пред самой сильной из цариц.

Её победам – славословье
Все менестрели запоют,
И мощь её одни любовью,
Другие смертью назовут.

Зима–весна 1916

* * *

Вы считаете меня очень злым
И очень слабым?

Вы думаете, что я совершенно,
Совершенно ничего не вижу?
Вы не верите моим словам?
И Вам кажется, что Вы победили?

О, если бы Вы только знали,
Как мне иногда смешно
Видеть насквозь Ваше сердце
И знать, что мне его не надо.

Зима–весна 1916

* * *

Он крепко спит, когда они смеются
И строят города и пьют вино.
Но если станет в комнате темно,
Все призраки волшебю обернутся
И улетят, как вороны, в окно.

Сквозь все часы, сквозь сумрак и безделье
Проносит он свой панцирь золотой,
Беседуя с тобою и со мной
Как тайный друг, ушедший от веселья,
Как некий ангел с девочкой простой.

И дни идут. И рушатся мгновенья
В подвалы лет легко и тяжело.
И зорек взор. И вновь горит свеча,
И пенится, меняя направленье,
Подвластное и злое ремесло.

Зима–весна 1916

* * *

Такой, как все они: ни стар, ни молод,
Последний в роде, самый худший внук
Каким-то знаньем дьявольским расколот
И чей-то враг, а может быть и друг.

А надо жить – рыдать или смеяться.
Идти с своей котомкой в пустоту.
В лохмотьях сумасшедшего паяца
Встречать чужие свадьбы на мосту.

И надо ждать всю ночь у изголовья
Обещанного ангела к себе,
И надо бросить кости, чтобы кровью
Платить за каждый проигрыш судьбе.

О, если бы я мог узнать наверно!
О, если бы не знал я ничего!
Ты слышишь, Бог? Меня Ты создал скверно –
Подумаешь, какое торжество...

Зима–весна 1916

* * *

И это всё меж нами напускное.
Никто не верил замыслам своим.
И каждый ждёт. И с каждого весною
Уходит безвозвратно херувим.

Мы много спорили. И прозевали,
Быть может, наши лучшие года.
Мы собственной неправдой заковали
В тугие пазы сердце навсегда.

И столько слов кощунственных; так много
Ничтожных поз. Но грусть за нас не спит.
Пусть стены книг задвинули дорогу –
Грусть у дверей, и грусть нас не простит.

И хартия раздраная позора
В обломках тут висеть осуждена,
Покуда страж последнего дозора,
Покуда смерть не встанет ото сна.

Зима–весна 1916

* * *

Можно долго болтать и смеяться
И играть в дорогую игру.
Можно жизни совсем не бояться
И припомнить: Я скоро умру.

Можно верить во все начинанья
И поникнуть при первой беде,
И носить за собою страданье,
И казаться счастливым везде.

Можно дьявольским злом не обидеть
И картонной игрушкой убить.
Можно всею душой ненавидеть,
Чтобы после навек полюбить.

И над каждой сверкающей ложью,
И над каждою правдой простой
Будет благословение Божье,
Словно ангельский нимб золотой.

Зима–весна 1916

* * *

Ушедшим друзьям не вернуться.
Им в новой стране так светло.
Они и не смеют проснуться
И взяться за руль и весло.

На острове Доброй Надежды,
Где нет ни любви, ни вражды,
Сомкнули усталые вежды
Друг другу равны и чужды.

И синее море рокошет,
И алые розы цветут,
И древнюю тайну пророчит
Их сладкий, их вечный приют.

И снится им в бездне эфира
В годах, что навски ушли,
Далёкая музыка мира,
Цветущее лоно земли.

Зима–весна 1916

AVE MARIA

В смуглом окладе тяжёлого злата уснула.
Спит и Младенец в божественно тонких руках.
Вечность ли в синие очи её заглянула,
Ночь ли уснула в тяжёлых и скорбных шелках.

Трубные звуки промчались по царствам, подъяемля
Ржавые латы усталых и мёртвых бойцов.
Трубные звуки примчались в заморские земли,
Алые зори послали навстречу гонцов.

Вспыхнули розы, как свечи. И старые раны
Стали, как розы, цвести и лучиться во мгле.
Там, на Востоке, пришли пилигримы – туманы.
Рыцари Девы увидели скорбь на земле.

Зима–весна 1916

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Пречистая Дева над нами
Возникнет во мраке пустынь.
Печальное мужество – знамя.
Навеки веков – Аминь.

На севере грезят спокойно
Соборы и раки святых,
И говор народа нестройный
В тавернах и замках затих.

И с севера ветер нагонит
Осенних и жалобных птиц,
И встанет, как вождь, и застонет,
И сдвинет громады бойниц.

И там, у гробницы Танкреда,
Услышав бескрылый набат,
Холодная злая победа
Оглянется, плача, назад.

Весна 1916

* * *

О, Муза, причудница мрака,
О, трижды святая весна!
Ты ждёшь ли случайного знака?
Ты будешь ли снова верна?

Ты так приближаешься странно,
То глянешь, то снова уйдёшь,
То ранишь мечтой несказанной,
То глупые песни поёшь.

А я и позвать не умею.
Не смею догнать на коне
Тебя, златокудрую фею,
Тебя, обручённую мне.

Я еду совсем без дороги
И снова – в дремучем лесу,
И снова, седой и убогий,
Разбитую куклу несусь.

Весна 1916

* * *

Что мне день? Колодцы неба в тучах,
Да несколько смеющихся минут,
Да сказочки и песни дней ползучих –
И я один, как брошенный лоскут.

И вот и всё... Но жизнь ещё достроит
Нелепый дом и всунет в руки нож
И, лепеча: игра свечей не стоит,
Оденет в пурпур горестную ложь,

Преобразив в раскаянье коварство
И потеряв заветные ключи,
Потом шепнёт: вот это – наше царство.
Ты понял всё? Ты хочешь жить? Молчи...

Весна 1916.

* * *

Я вынул из подвала ржавый меч,
Картонный шлем на глупый лоб надвинул
И вышел в путь искать весёлых встреч,
Как это подобает паладину.

И хлещет дождь. И бьётся за спиной
Пустая и дырявая котомка.
А на груди – цветочек полевой,
Печальный герб, понятный и ребёнку.

Вы встретили меня у фонаря,
Когда ушли от сумрачной обедни.
О, жизнь моя! О, нищая заря!
Пустые, романтические бредни.

Весна 1916

* * *

Вот и умер. Лежу под покровом.
Так ехидно белеет рука,
А о прошлом – не надо ни слова:
Всё равно ваша участь легка.

Всё равно не поймёте вы, люди,
Да и стоит ли это понять.
Если вспомнишь, скорей позабудешь;
Погрустивши, отвыкнешь опять.

А вот та, что не ждёт панихиды,
Эта барышня в белом платке,
Пусть уронит от горькой обиды
Дорогую слезинку в тоске...

Весна 1916

* * *

Долго в мире путали... Нажужжали в уши,
Закружили до смерти. Смотрят из углов.
Но дома раздвинулись – и взлетели души,
И все тайны поняли безо всяких слов.

Там – в раю цветущем – вспомнили о смерти:
Помолились чинно. Потеряли вес.
В облаках рассеялись, словно на концерте, –
В голубых хитонах стали ждать чудес.

Кто-то громко крикнул: Облака – из теста!
И другой: Я дома позабыл сапог!
Третий: Я не знаю, где моя невеста!
А четвёртый: Разве существует Бог?

Бог услышал крики и сказал им: Детки,
Это очень дурно с вашей стороны.
В небе даже птички не боятся клетки,
Даже трубочисты вымыли штаны.

Я бы наказал вас; я бы вас заставил
Снова вниз спуститься, будто невзначай.
Только это будет против наших правил.
Эй, апостол Павел, покажи им рай!

1916

* * *

О, глупая радость – весенний разлив!
 О, город святой голубых перспектив!
 Пусть солнце трикраты пронзает меня:
 Я строю палаты из каждого дня.
 И снова симфония роз без конца,
 И пёстрые флаги горят у крыльца.
 И в терем высокий стучатся в ночи
 Пернатые гости в плащах из парчи.
 Колеблются шарфы, клубится сирень,
 Ленивые арфы томятся весь день.
 А там кавалькады, а выше – весна
 На паперти белой, как мрамор, бледна.
 Как тополь, стройна и, как небо, светла,
 Загаданный кубок мне в руки дала
 И Царские Двери свои отперла,
 И глянула в очи, и терем зажгла.
 И в новое небо с собой привела,
 И новому небу название дала,
 Сказала, открыла, пропела – хвала!
 Весна 1916

* * *

Там в золотом кордебалете,
 В скрипичном гаме, в блеске свеч
 Твои глаза я снова встретил
 И вспомнил дрожь безумных плеч.
 Но, как Сильфида, ты вспорхнула
 И засмеялась мне в глаза,
 И по щеке моей блеснула,
 Скатилась глупая слеза.
 О, пойте скрипки, как бывало!
 Блесни, кинжал, из-за кулис!
 Отчаянье очаровало
 Мой пьяный нищенский каприз.

В лохмотьях пёстрога паяца,
 Скажи, что делать мне с тобой?
 Накинь личину, смейся, пой!
 Ты, сердце, можешь разорваться.
 Весна 1916

* * *

Если б актёры заплакали
 Над неизбежной судьбой
 В этом нарядном спектакле,
 Названном «Жизнью» Тобой,
 Ты в огневом исступленьи
 Встал нетерпим и могуч
 И на земные селенья
 Прóлил бы дождик из туч.
 Всё, что Ты сделать умеешь, –
 Это Всемирный Потоп.
 Как же ты смеешь
 Целиться дерзкому в лоб?
 Я научился смеяться,
 Это оружие моё.
 Пусть же под хохот паяца
 Рушится небо твоё.
 Весна 1916

* * *

Раскаянье в бесцельном состраданье
 И в творчестве, и в перезвонах книг
 Сквозь страшное, смешное мирозданье
 Идёт за мной, как сторож и двойник.
 Я слишком молод был, чтоб хладнокровно
 Построить жизнь – тюрьму или дворец.
 И что же делать, если так неровно
 Сошлись во мне разумник и глупец?
 О, жизнь моя, – ночные диалоги
 Идущих мимо странников – со мной,
 Со мной, бездомным в праздничной тревоге,
 Со мной, лишённым мудрости простой!

Писать стихи, курить и спать с досады –
 Ведь это всё, что *здесь* осталось мне.
 А что же *там*? Ужели ждать награды
 За труд и грусть, за мокрый дождь в окне?

Весна 1916

* * *

Ты прошла лесами чёрными
 Богомолкою-черницей.
 Ты над водами озёрными
 Пролетала вещей птицей.
 За крылечками узорными
 Пела красною девицей.

И, закончив полный круг,
 Круглый год,
 Созвала своих подруг,
 Обернулась на восход.

По небесному туману, по лазоревой реке
 Уплываешь в разноцветном, разметавшемся платке

И поёшь на голос томный,
 И веселие сулишь,
 В жизни праздничной и скромной
 Отыскать тебя велишь.

В алом блеске заряницы,
 В перьях сказочной Жар-Птицы.
 Ты пошли слуге привет,
 Как тебя найти совет.
 Твой слуга стоит у двери,
 У ворот в высокий терем
 Целый год.
 И теперь на голос древний
 Снова милой королевне
 Запоёт.

Весна 1916

* * *

Ю. Завадскому

Голубеет, розовеет серпантин.
 Убегает, наступает Арлекин.

Там, по водам зеленеющих лагун
 Рокотанье, воркованье нежных струн.
 Перелёты бело-сизых голубиц.
 Переключки карнавальных верениц.

Серенада Арлекина не нова
 Точно так же, как святая синева.

Точно так же, как цветенье красных роз
 В чёрном пламени рассыпавшихся кос.

Весна 1916

* * *

Дай мне крепкий замо́к, дай земную славу,
 Золотую ризу, кованный колчан.
 Дай для злого друга смертную отраву
 И для битвы правой чёрный талисман.

Дай мне в жёны деву из страны великой,
 Стройную как тополь, светлую как Ты.
 Дай мне кубок хмельный после схватки дикой
 И в придачу лютню для моей мечты.

Дай мне бремя страсти, дай венец терновый,
 Символ искупленья, горькое вино.
 И ещё – смиренье перед книгой новой,
 Перед всем, что было и что суждено.

Весна 1916

* * *

Я только исполняю свой обет.
 Я слушаю спокойно и бесцельно
 И голоса, и свист летящих лет,
 И песни звёзд, и грохот подземельный,
 И говор дня, и полунощный бред,
 И звон мечей, и звон тоски свирельной.

К чему я притворяюсь вновь и вновь?
 Зачем я помню всё, что здесь случится?
 Зачем я претворяю плоть и кровь,
 Игру и боль, и ночи, и денницы,
 Всё золото и всю мою любовь
 В венок из чёрных слов – в мои страницы?

Весна 1916

* * *

И пусть меня накажет тот,
Кто изобрёл мои мученья.
Лермонтов

Быть может, Вы – бездарный архитектор,
Не помнящий начертанного плана.
Быть может, господин Весёлый Некто,
Вы просто бешеная обезьяна.

Быть может, Вы – чудесная особа,
Живущая инкогнито в Париже.
Ведь я не видел Вас и не увижу
И против Вас я не питаю злобы.

Но мы равны. Мы встретились навеки.
Я не прощу Вам ничего на свете –
Ни слёз моих, ни прожитых столетий,
Ни вечности, ни встречного калеки.

И даже то, что мне судьба прицепит
Венок пристрастья, названный Любовью...
О, если бы своею чёрной кровью
Я мог платить за этот детский лепет.

Весна 1916

* * *

Смейся со мною на свадьбе, на тризне.
Я ведь бродяга такой же, как ты.
Что нам осталось от прожитой жизни,
Шумной дороги и детской мечты?

Что нам осталось? Венок отречения,
Жалкое имя шута... А потом
Где-то, быть может, за гробом – прощенье
И возвращенье в родительский дом.

Разве над нищими сжалится Небо?
Разве укроет от злого дождя?
Смейся. За это подарят нам хлеба
И не побьют, уходя.

Весна 1916

* * *

Странное бремя дала мне судьба.
Это не серп и не заступ раба.
Это не меч, и не крест, и не лук,
Даже не флейта – серебряный друг.

Мечется что-то в ночной тишине.
Чается что-то в седой старине.
Пёстрое, глупое платье шута.
Алые, злые, кривые уста.

Детская кукла и отблеск ножа.
Просьба о чуде и крах мятежа.
Странное бремя... Как будто во мне
Тысячи глаз, не закрытых во сне.

Тысячи жизней и тысяча ран.
Тысячи копий, пронзивших туман.
Тысячи добрых и злых голосов,
С дикою песней идущих на зов.

Весна 1916

* * *

Скажите мне правду о главном, скажите о жизни и смерти,
О том, что ещё не случилось, о том, что случается раз.
А если и чудо случится, то вы этой сказке не верьте.
Игрушки нужны малым детям, а вечность не знает прикрас.
Не стоит гроша остальное на лысой горе мироздания.
Вы можете в небо отправить всех подлых и всех дураков.
Вы можете вашей любезной назначить за гробом свиданье
И, если угодно, припомнить туман прошлых годов стихов.
И вот перед вами равнина. Вы знаете, что это значит?
Траншеи разрыты дождями. Летит над полками гроза.
Пусть старый над сказкой смеётся.
Пусть малый над правдой поплачет.
А юность посмотрит обоим без слёз и без смеха в глаза.

Лето 1916. Село Барвиха

* * *

Я счёт забыл. Я помню слишком пылко:
Здесь встретились, здесь покупали торт,

Здесь был цветок, а там цвела могилка,
Тут поцелуй, а тут вмешался чёрт.

И много глаз открылось там, где числа
Должны стоять. И тем слабей актив.
Тем менее в несчастных строфах смысла
И твёрдости – в сплетеньи перспектив.

Шатаются бездомные зигзаги
Не отраженных зеркалом лучей.
И сообщает карандаш бумаге,
Что на поэта вышел казначей.

Лето 1916. Село Барвиха

ПЕТРОГРАД

Княгине Е.П. Тархан-Моурави

I.

Здесь туши мёрзлые семги и осетрины.
Здесь ругань ломовых, татарские платки,
Полки газетчиков, трамвайные звонки
И надо всем дворец времён Екатерины.

И свод опаловый с большими облаками,
И византийский крест, и купол золотой,
А дальше – чахлый сквер с песочною горой,
С детьми и няньками и с красными шарами.

А северная ночь в безлюдных перспективах
Проспектов каменных и звонких площадей
Перекликается с разливами морей,
Рассказывая быль о ледовитых дивах.

И медный полубог в своих чеканных лаврах
Весь день, всю ночь летит на огненном коне
И видит корабли и мачты в вышине,
Навеки одержим веселием кентавра.

II.

И снова прям безлунный Невский.
И ночь подобна дню. С Морской
К Адмиралтейству Достоевский
Проходит с девочкой слепой.

А где-то там, в пустой России
Свистят ночные поезда.
И слепо буйствуют витии,
И засыпают города.

И все, кто молодостью болен,
Тоскливо озирают путь,
Ещё не смея разомкнуть
Тюрьму московских колоколен.

Май 1916. Село Барвиха

* * *

Улица. Осень. В ночи
Не воплощается некто.
Ищут и бродят лучи,
Неразложимые в спектр.
Ветер шатался весь день,
Нагло подслушивал речи,
Кинул крылатую тень
На твои узкие плечи.
Выросли крылья. Прости!
Кончено, выпито детство.
Рваная туча в пути –
Вечное наше наследство.

Осень 1916–1917

* * *

Г. Завадскому

В громах оркестра рыщет чья-то фраза.
За ней ещё – слагаются в молву.
Проходят пары в жёлтых вспышках газа
И в жестяную рушатся листву.
Бульварный флирт в чаду кофеен пыльных.
Калейдоскоп улыбок и гримас.
И сотни глаз – живых и замогильных,
Девических и подведённых глаз.
И Дух Земли, поднявшись за скамейкой,
Ещё хмельной, шатаясь после сна,
Заносит нож над беззащитной шейкой
И прячется. Она обречена.

Осень 1916–1917

* * *

Есть скука прочитанных книг.
 Есть имя всему, что не надо.
 Есть Город – высокий Старик
 В атласном плаще листопада.
 Есть Город, размыкавший днём
 Моё неприличное горе,
 С татарским горбатым Кремлём,
 С балансом в банкирской конторе.
 Есть рваная ночь Сентября
 Пустой граммофонной пластинки.
 И нищенский глаз фонаря,
 Расплывшийся в нимбе слезинки.

Осень 1916–1917

* * *

Зашуршит, стеклярусом блистая,
 Чёрный шёлк под шалью роковой.
 Пропадай ты, истина пустая,
 Пролетай дорогой столбовой.
 Не речами, не повадкой льстивой,
 Да не хмелем зеленым взяла.
 Прозвенели клавиши лениво –
 Под холодным мехом замерла.
 И, крутясь в огне, метель уснула.
 Отшатнулась полночь, не дыша.
 Нам ли радость душу полоснула,
 Иль сама разорвана душа?
 И бренчит – бренчит – бренчит гитара.
 И летит сквозь дождь и темноту
 На санях невенчанная пара –
 Только тают кони на лету.

Осень 1916–1917

* * *

Два голоса поют у старого рояля,
 Заглушены слегка ненастьями портьер:
 – Слыхали ль вы? О, нет! Вы больше не слышали.
 Мы пели до утра, и сторож запер сквер.

Пьём небо жёлтое из хрупкого стакана.
 Нам снится хладный мех и хладные духи.
 И снятся главы нам прочтённого романа.
 И снится, как слова слагаются в стихи.
 Пьём небо дымное, пьём золотую горечь
 Высоких куполов, бессильный ветер пьём,
 Пьём черноту и гром и скуку людных сборищ.
 Уходит молодость, но мы ещё поём.

Осень 1916–1917

* * *

Из тысячи зеркал ты улыбалась мне,
 Мечтая, может быть, о невозможной встрече.
 И я искал тебя в моём притворном сне,
 А наяву слагал слова противоречий.
 О, если б знала ты, как мне теперь смешно
 Смотреть в твои глаза, не отрывая взгляда,
 И помнить про себя, что мне давным-давно
 Ни жизни, ни тебя, ни глаз твоих не надо.

Осень 1916–1917

* * *

Плоскогорьями крыш убаюкай,
 Убаюкай вокзальным гудком,
 Усыпи августовской разлукой
 Под клеёнчатый чёрный дождём,
 Чтоб засохли чернильные бредни,
 Чтоб плачущий голос затих,
 Чтоб был недописан последний
 Лучший стих.

Осень 1916–1917

* * *

Город, весёлый рассказчик,
 Чёрная птица Судьбы –
 Сунем-ка в сломанный ящик
 Песню заводской трубы!
 Валик за валиком – годы
 Вьётся пружина, крутятся.

Бурый брезент непогоды –
Воды – да небо – да грязь.

Эх, нагадала мне осень
Новую, взрослую ложь.
Осень! Милости просим.
Больше меня не тревожь.

Осень 1916–1917

* * *

Я обезглавлен на Страстной Неделе.
Шёл мокрый снег. И в пять часов утра
Ко мне пришли защитники, сидели,
Пока я сам им не сказал: «Пора!»
Жена мне обещала: «Не забуду».
Вертлявый ксёндз латынью щегольнул, –
Всё убеждал, что надо верить чуду
И, кажется, не очень обманул.
Что было после, – к сожаленью, тайна.
Я только исполнительный актёр.
Я только тень. Я молод чрезвычайно:
Мне двадцать лет осталось до сих пор.
По облакам, пурпуровым и снежным,
Я прохожу с кровавой головой.
Из ангелов – кто будет самым нежным?
Кто раздробит мой панцирь гробовой?
И снится мне – недалеко от цели –
Нахлынет свет – и кончится игра.
Я обезглавлен на Страстной Неделе,
На площади Мадонны, в шесть утра.

Осень 1916–1917

* * *

Все часы остановились сразу
И затем, хрипя, пошли обратно.
Стало в городе светло для глаза.
И сердцам просторно и приятно.
Расступились улочки кривые.
Люди не хотели шевелиться.
Подняли, как куклы восковые,
Руки вверх. И улыбались лица.

Только кто-то, на меня похожий,
Закричал, затопал каблуками:
У него украли финский ножик
И тетрадь со скверными стихами.

Осень 1916–1917

* * *

Гора вырастает в конце
Ночных переходов ползучих.
Приказ, воплощённый в отце,
Мерещится отроку в тучах.
Он слышит: на все времена
Кричат высоченные трубы.
И к собственной тени со сна
Распутные тянутся губы.
А в каменном небе гремит
Огромная грамота Гнева.
И в пламенном небе горит
Младенца несущая Дева.
И в каменной клетке урод
Над злым картонажем хлопочет.
И в пламенной радости рот
Открыт и о громах бормочет.

Осень 1916–1917

* * *

Чёрный снег летает в небе тише сов.
Циферблаты электрических часов
Расцвели на лысых клумбах площадей.
Перекушен храп ленивых лошадей.
С полумесяцем турецким наверху
Ночь тепла, как одеяло на пуху.
Проезжает на извозчике глупец.
Он не знает, кто он – книга или чтец.

Осень 1916–1917

* * *

Не дважды два – а целый пир сознания.
Голодный ветер с тучей ворожит.

В бессоннице продрогли люди, зданья
И улицы. И каждый пёс дрожит.
Москва, Москва... Летят с разбега санки
По серебру ковровых площадей,
Под выдыханья лающей шарманки
Дымится храп усталых лошадей.
И небо есть, как было там – когда-то.
И круговая чаша над людьми.
И ты смеёшься – нищенская плата
За жизнь и смерть с восьми и до восьми.

Осень 1916–1917

* * *

Оттого, что пустынно на каменной площади Рока,
Оттого, что я встретил лишь тень, а до Бога высоко.
Оттого, что я сам своего объезжаю коня,
Оттого, что собачий кортеж провожает меня,
Оттого, что мне странно, что младость уходит навеки,
Помолись обо мне, собеседнике и человеку.

Осень 1916–1917

* * *

Облака под мёртвым ветром загибались,
Расходились в замогильной сарабанде.
Вырастали многоярусные кубы
И слезились в переулках фонари.
И прохожие друг другу улыбались.
И сходились шулерá в ночные клубы.
И сдвигались по неведомой команде
Длинных вёчеров линючие драпри.
А идущий вечер выглядел сутулым
Музыкантом в старомодной разлеталке.
И казалось – и казалось – он тоскует,
Пьяный в облаке – в квадратном кабачке.
Встанет – крикнет – брякнет ó пол стулом
И, быть может, – и, быть может, без утайки
Длинноногой тени спяну растолкует,
Как натягивают струны на смычке.

Осень 1916–1917

* * *

Когда шериф, читавший тот указ,
Прервал себя латинским восклицаньем
И поднял алебардой напоказ
Твою главу с ещё живым мерцаньем
Женоподобных, подведённых глаз –
Ему патруль отвечивал бряцаньем
Скрещённых шпаг, а патер – прорицаньем
Гнусавым: «Господи, помилуй нас!»
Твой голый труп сложили в длинный ящик,
Но тут остановился наш рассказчик,
А слушавший мертвец на стол вскочил:
– О, Sacrebleux!* Я помню всё. Довольно.
В тот день меня, жалея сердобольно,
Господь – жить безголовым научил.

Осень 1916–1917

* * *

Г. Завадскому

Наш город – ящик ужасов Пандоры.
На этом перекрёстке – Todtentanz**.
А в том окне, сквозь матовые шторы
Три куколки играют в преферанс.
Быть может, то – каприз Комедианта,
Все кажется – в чахоточном саду
В круженье пар орлиный профиль Данта
Провидит те же тени, что в аду.
Созвездья вольт, бессонница проспекта,
Чеканный такт секунд сквозь гром и блеск.
И в каждом звуке – сумасшедший некто.
И что ни встреча – жалобный гротеск.

Осень 1916–1917

* * *

Встают века. Из грозных усыпален
Встаёт Двадцатый, Двадцать Первый Век.
В мертвецкий храп машин и наковален
Глядит с надеждой жадный человек.

* Чёрт побери! (*фр.*).

** Танец смерти (*нем.*).

Пусть жадные надеждами мы будем
 Лишь рекрутами в ангельскую рать.
 Так пишется История. И людям
 Ещё надолго хватит... умирать.
 И хватит смысла мёртвым генералам,
 Чтоб выстроить карэ из мертвецов.
 Целует Дьявол, приподняв забрало,
 Мёртвым солдатам руки и лицо.
 То ветер-царь. Укор Кремлей горбатых
 И плач детей – лишь песня для него.
 Так строится в заоблачных дебатах
 История столетья моего.

1916

* * *

Город. Ночь. Проходят облака.
 Фонари чадят и догорают.
 Эту повесть завтра доиграют
 Наши тени, пьяные слегка.
 Кто за нас достроит наши зданья,
 Новые построит города?
 Ничего мы не узнаем никогда.
 Дорогие горожане, до свиданья!

Осень 1916–1917

* * *

Врывается загнанный бунт
 В ночные заздравные тосты.
 Над ходом веков и секунд
 Висят равнодушные звёзды,
 А мы под плащом кутежа
 Не знаем, куда нам деваться.
 А сердце стучит дребезжа,
 Не хочет ещё разорваться.

Осень 1916–1917

* * *

Прямо с бала – в стужу рассвета.
 За спиной лежат пистолеты

Да полдюжины бьётся Клико.
 Петухи за рекой распелись.
 Быстро санки летят, раскрипелись.
 Зеленеют звёзды легко.
 За рекою ждут секунданты.
 На груди горят аксельбанты.
 Сосчитали стойко шаги.
 Что припомнить в жизни беспутной?
 За полями – странно и мутно.
 Там не видно больше ни зги.
 Подошли. Стоят у барьера.
 Зеленеет звезда Венера.
 Это с нею ты танцевал.
 Это с нею жить вам довольно.
 Это ты, которому больно,
 В чистый снег, как кукла, упал.

Осень 1916–1917

* * *

Как древле венецейский дож
 Кидал кольцо, залог безмолвный,
 В Адриатические волны,
 Обуздывая их кутёж.
 Как в дни разбитых баррикад
 Измученные демагоги
 Витийствовали на дороге,
 Ведущей в тот же старый ад.
 Так ныне, в первый день весны,
 Весны Семнадцатого года,
 Я в криках уличного сброда
 Твои пытаю глубины.
 Безграмотный гром телеграмм,
 Вой человеческого моря,
 Вы, жилистые руки горя,
 Беззубый рот, кровавый шрам.
 Ты – первый встречный человек,
 На том углу, в четыре ночи,
 Вы – ненавидящие очи, –
 Благословляю вас навек.

Осень 1916–1917

* * *

Панна Марина! Как мне быть с тобой?
 Сегодня самый ветер не свободен
 И лижет кольца Панны знаменитой.
 Что делать мне с латинской ворожкой,
 Когда вокруг двенадцать тысяч родин
 И кланяются подло езуиты.
 Гудят и воют пьяные Кремли.
 И вот под ветром в облаке вельможном
 Взыграла соколиная потеха.
 И я расту, как сон, из-под земли.
 Я просыпаюсь конюхом острожным.
 Горит, как Ад, кровавая прореха.

Осень 1916–1917

* * *

Выходим. Разбираем шпаги.
 Взбираемся на злых коней.
 А ветер, словно бич отваги,
 Свистит и бьёт всё холодней.
 Подслушиваем чей-то шёпот.
 О, небо! Где-то позади
 Не верной ли подмоги топот –
 Иль сердце рвётся из груди?
 Иль музыка (ей свет не нужен)
 Неузнанная входит в зал,
 Как входит Командор на ужин,
 Как в грудь изменницы кинжал?
 Друзья! Ещё сегодня ночью
 Звенели зеркала, дрожа,
 И флагов растрепались ключья
 В когтях больного мятежа.
 Так пусть опять скликает верных
 Бряцанием чужих ключей –
 Грабёж, горланивший в тавернах
 Двенадцать нищенских ночей.
 Пусть в сердце новых поколений,
 Надвинув на глаза берет,
 Со скрипом изогнув колени,

Глядится Странствующий Бред.
 Мы понимаем: он бездарно
 Слоняется по облакам,
 Чтобы в короне легендарной
 Придти на ужин к беднякам.
 Мы понимаем, где засада, –
 И проступают в книге лжи
 Метафоры пустого Ада –
 Зубчатых молний чертежи.

Осень 1916–1917

* * *

Г. Завадскому

Словно гроб, косоугольный зал.
 Сам Директор заправляет лампы
 И швыряет пачками либретто
 Сверху – на потёртый бархат лож.
 Сам директор вышел и сказал,
 Изогнувшись, хохоча у рампы,
 Что внизу – карета за каретой
 Тянутся в расхлябанную ложь.
 Изогнулся в три погибели – и вот
 Вырастает чопорным Маэстро,
 Чтобы дикой песенкой обиды
 Вызывать на битву пьяный Рок.
 Чтобы плакал и сопел фагот.
 Чтобы из нескладного оркестра
 Скрипки, как стеклянные сильфиды,
 Бились в закоптелый потолок.
 Посереют стены поутру
 Серостью распутства и недуга.
 В комнате останутся стаканы,
 Ноты да пустые сюртуки.
 В чёрную пробитую дыру
 Понесла нас дьявольская fuga.
 Эй, Директор, приходи, обшарь карманы
 И заплачь от злости и тоски!

Осень 1916–1917

* * *

Я поменялся с ним моим нарядом.
 И он разбил на тысячу кусков
 Моё лицо. Он падал с облаков,
 Изнемогал – и встал со мною рядом.
 И нет у нас ни шпаги, ни мансарды.
 Гнусавый эльф – глухой петух кричит.
 Встает луна и острые лучи
 Скрещает в мёртвый фокус алебарды.
 Пишу стихи – вот для меня отрада:
 Сходить в словах торжественных с ума.
 И с визгом раздвигается зима,
 И бьют внизу фонтаны лимонада.
 И надо мной – над ними – треск.
 Рассыпался, гремя костями, ямб.
 И в темноте нет ни луны, ни ламп.
 И нет у нас ни шпаги, ни мансарды.

Осень 1916–1917

* * *

Вот Мёртвый Переулок. Я живой.
 И плачет ветер, плачет дождевой
 С цыганским заклинающим акцентом.
 Упал киоск. Фургоны под брезентом.
 Гниёт в саду, летит в трубу октябрь,
 Как копоть стопудовых канделябр
 Из рухляди разграбленного Графства.
 И разум пьёт своё самоуправство.
 И, заправляя факел на лету,
 Восторженно явилась в темноту
 Гадалка снов с глазами вольной Музы.
 А жизнь – слабее судорог Медузы,
 Распоротой и всё ещё живой.
 И плачет ветер, плачет дождевой.

Осень 1916–1917

* * *

Утрачено главное. Остальное не важно.
 Что может случиться вновь?

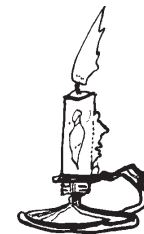
Умирая, шипит протяжно
 Осенняя любовь.
 О, забавные встречи,
 Переключки хроматических гамм!
 Вы не смеете противоречить
 Совершенно сухим глазам!

1916

* * *

Ночь. Я не буду спать, Я должен вспомнить.
 И начертить магический чертёж.
 Все замыслы, все воплощенья – ложь.
 Мою мечту ещё нельзя исполнить.
 В моём окне – созвездий хороводы,
 Декабрьский снег, серебряный собор,
 Огромный бред, неисчислимый вздор,
 Все прошлые, все будущие годы.
 И всем конец. И всюду есть начало.
 И каждый новый путь неповторим.
 И все пути ведут в единый Рим.
 Моя мечта ещё не отзвучала.

1916



«И ВОТ ОНА, О КОМ МЕЧТАЛИ ДЕДЫ...»

Стихи 1917 года

* * *

Юность подходит к дымным ущельям.
Юность глядится в зеркало вод.

Стянуто горло злым ожерельем.
Скукой кривится дрогнувший рот.

Ветер отпрянул. Плащ заklubился.
Взор раздирает мёртвую ночь.

Что он увидит? Кто наклонился?
Просит вернуться? Может помочь?

Всюду измена. Всюду засады.
Будь же собою – вот торжество.

Нет и не будет большей награды.
Нету молитвы. Нет ничего.

Январь–февраль 1917

* * *

*Eritis sicut Dii**

У Каждого из Них есть два крыла.
Мы наизусть читаем Их дороги.,
Их мудрые и странные дела,
Их обещанье: будете как боги.

Тяжёлый круг назначен молодым.
Мы знаем всё. Нет круговой поруки.
Всё минется. Клубится чёрный дым.
Они ушли – и умывают руки.

Январь–февраль 1917

* Будете как Боги (*лат.*) – Полностью: ...но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. (Бытие. 3, 5.)

* * *

Они сойдутся, чопорно вздыхая,
Поднимут гроб и отвезут туда,
Где сторожит свои кресты глухая
И глупая старуха Никогда.

Вот проползли змейй цилиндры, крепы.
Под модный звон, между нагих берёз
Застрянет в зимнем воздухе нелепый,
Бог знает кем придуманный вопрос.

Пора домой. А вы теперь бездомны.
Загрохотали кубики карет.
И только где-то, в памяти, – укромно
Горит свеча. И это есть ответ.

Ответ на всё: на отроческий голод,
На смертный пот, на скуку панихид,
На этот мир, на сумасшедший город,
На чёрный крест, который вас хранит.

Январь–февраль 1917

* * *

Е.В. Шук

Приятель крыс библиотечных,
Самый пустой и добрый чёрт,
Он спорит о вопросах вечных
И ускользает из реторт.

Сутулый, в старомодном фраке,
Не то – доцент, не то – актёр,
Он рад, как школьник, всякой драке
И в диалектике остёр.

Но знай: когда тошнит от злости
И болен ты – самим собой,
Тогда повадится он в гости,
Как некий призрак голубой.

И череп Йорика беззубый
Держа в руках, зовёт туда,
Где стонут ангельские трубы
И гномы строят города.

Теперь уже другой, серьёзный,
Немного грустный – говорит

И Апока́липисис надзвёздный
В софизмах путаных горит.

Январь–февраль 1917

* * *

По снегу, по снегу, под ветром морозным навстречу,
По лунным дорогам, сквозь мёртвую тишь деревень...
Ты дремлешь, качаясь. Ты слушаешь льстивые речи.
Бубенчики стонут. И всё, что проносится, – тень.

Усни, моя радость. Нам длинная старость приснится.
Поют петухи. Это утро. Чернеет обоз.
Усни непробудно под сладкую ложь Ледяницы.
Мы скоро домчимся. Я верные вести привёз.

По снегу, по снегу домчимся, гремя и блистая.
И вот – надо мною весёлая тайна твоя.
Усни беспробудно, ты, праздничная, ты, пустая!
Мой вымысел бедный, бессмертная правда моя.

Январь–февраль 1917

* * *

Над алгеброй Добра, над музыкой Злорадства,
Над сединою книг, над каждой головой,
Над болтовнёй глупцов горит Твоё богатство,
Твой шарф, расплётнутый меж нами и Тобой.

Ты сказочку прочтёшь, Ты подойдёшь, танцуя
И в рыжем золоте рассыпавшихся кос
Монахи закричат в смятенье: «Аллилуйя!»
И короли поймут: вот самый злой вопрос.

Мне снятся столько раз целованные губы,
Твои шальные дни, твой бесподобный смех,
Твоё тряпье, твой крик, и сладостный и грубый,
И торжество твоё – превыше нимбов всех.

И снится мне ещё, как догорают битвы
Через миллионы лет, и не видать ни зги.
Над нами дряхлый Бог, услышавший молитвы.
Мы здесь лицом к лицу, но мы ещё враги.

Январь–февраль 1917

* * *

Когда вломился в сумрак комнаты
Распутный танец мертвецов,
Когда глаза устало сомкнуты
И не смолкает бой часов;

Когда ты болен злыми бреднями;
Когда ведёшь беседы ты
С развенчанными и последними
Архангелами Пустоты, –

Тогда над юностью, прочитанной
Подобно сотне книг иных,
Возникнет лёгкий и испытанный
Венок из ямбов расписных.

И ремесло твоё запенится:
Ты человек, и ты прощён.
А Та, – продажная, изменница! –
Танцует... где-то там... сквозь сон.

Январь–февраль 1917

* * *

Я не верю ангелочкам, повешенным на ёлку.
Я не верю умным детям, приносящим в школу ранец,
Хитрым, добрым старушонкам, что подматривают в щёлку,
Этим феям – режиссёрам, вдруг врывающимся в танец.

Танец злости и удачи ворвался в картонный город,
Каждый школьник нож запрятал и торгуется с судьбой.
Каждый знает: это снится. Каждый надрое распорот.
И затем – Ога pro nobis!* – обручён с самим собой.

Январь–февраль 1917

* * *

Тапёр приглашён. Приходите, весёлый Февраль!
И вот дребезжит и брюзжит сумасшедший роаль.

И вот в серпантине запуталась чёрная тень.
Метнулась к окну – а в окне занимается день:

* Молись за нас (*лат.*) – цитата из молитвы.

На улицах сонных – тревога, и санки ползут.
 Бесшумные санки – куда они нас отвезут?
 Задушена полночь. Раскинула руки. Лежит.
 Светлеет окно. До свиданья! Рояль дребезжит.
 Январь–февраль 1917

* * *

То не толпы мятежников валяются,
 То не реки клубятся внизу,
 И не ангелов тонкие пальцы
 Заиграли по нервам грозу.

Это мы, выбиваясь из стянutoй,
 Занесённой снегами земли,
 Зацветаем к луне сарабандой
 И сжигаем свои корабли.

Это в тучах танцуют над городом
 Наши тени, дробя облака,
 Чтоб поэт своим вымыслом гордым
 Их скрутил у ночного станка.

И потом, когда тучи низринутся
 Старомодным весенним дождём,
 Мы с цинической грацией принца,
 Спотыкаясь, по строфам пройдем.

Январь–февраль 1917

* * *

Мать моя была, наверно, ведьма,
 А отец, рассказывают, рыжий граф.
 От него осталось мне наследье –
 Зуд в руках да сумасшедший нрав.
 Я теперь обдумываю глухо,
 Как найти мне счастье. Не найду –
 Так приду к тебе, старуха.
 Будем вместе горевать в аду.
 Впрочем, всё, что вам угодно,
 Даже в лапы Сатане,
 Но пред этой Дамой благородной
 Не пристало плакать мне.

Стану я ещё бездомней!
 Я умею кувыряться и глотать огонь и жердь.
 Ах, любовь, тебя нести легко мне.
 Поскорей бы приходила смерть...
 Январь–февраль 1917.

* * *

Святой Грааль в ущельях Монсальвата!
 Краснобородых громов перезвон!

Хвала огню! Задушенный Дракон
 Шипит в расплаве медного заката.

А там внизу – уже орут герольды.
 Колокола гудят, как в год чумы.

Сползают с гор. Несут датыры тьмы
 В подземный мрак горбатые кобольды.

О, Монсальват в гирлянде верных башен!
 О, Кундри, белокурая змея!

Весна горит на острие копья
 И здесь, в груди. Теперь Дракон не страшен.

Январь–февраль 1917

* * *

Согнувшись пополам под тяжестью свободы,
 Последыши времён, красавцы и уроды
 Целуются впотьмах, бормочут про дела,
 Считают золото. У каждого – игла.
 Фехтуя на пути миниатюрной шпагой,
 Уходят в темноту.

Вот Арлекин, вот Яго,
 Вот сумасшедший принц над черепом шута.
 Слепая девочка, выдавшая Христа.
 Вот доктор – шарлатан. Вот Дон Кихот на кляче.
 Рассеянный король, решающий задачи
 В день мятежа. И с ним казнённый сенешаль.
 А вот танцовщица, закутанная в шаль.
 И старый друг её, в руках несущий сердце,
 Не то бедняк-скрипач, не то беззубый герцог.
 Трагический балет. Оживший брик-а-брак*.

* Коллекция безделушек (bric-a-brac; фр.).

Знак, что уходит всё. И возвращенья знак.
Гром холостой пальбы. Фальшивое смятенье.
Злорадство дьявола над собственной тенью.
Тюрьма бессонницы. Неразложимый икс.
То, что глупец поймёт, переплывая Стикс.

Январь-февраль 1917

* * *

Сам Одиссей пред Афиной робеет.
Гамлет торжественно сходит с ума.

Лучшая девушка дать не умеет
Больше того, что имеет сама.

Годы уходят. И где-то гнездятся.
В памяти. Или в архиве небес.

Надо ещё научиться смеяться.
А остальное – распутает бес.

Январь-февраль 1917

* * *

И Ты придёшь. Коснёшься рук свинцовых.
Деяния торжественно прочтёшь.
И на весах созвездий стопудовых
Оденешь в пурпур нищенский кутёж.

В последний раз над городом горбатым
Промчится ночь и закричит петух.
Но разве *это* надо нам, богатым,
Измученным и обращённым в слух?

Но примем мы Твоё самоуправство.
И если смерть нам выдумаешь Ты,
То можешь снова превратить в цветы
Там на столах неубранные яства.

Январь-февраль 1917

* * *

Мороз. Гудят под небом провода.
Ночь подошла и смотрит прямо в очи.

Она молчит. Но это в стиле Ночи.
В её глазах читаю: Никогда.

Да, никогда. Сегодня и вчера
Слились в одно. Так хочет Ночь и Город.

Твой чёрный огонь, твой беспокойный голод
Замкни в слова. И жди. Теперь пора.

Январь-февраль 1917

* * *

Когда каскады толп в пустое небо влезут,
И отшатнётся страх в простреленном мозгу,
И сонмы ангелов затянут Марсельезу,
И каждый заорёт: «Я – больше – не могу!» –

Тогда простри сюда проколотые руки,
Ты, Искупивший мир на миллиарды лет,
И чёрным пафосом надежды и разлуки
Раздвинь и искази многоэтажный бред.

Мы все в одной цепи. Но мы тебя забыли.
Пируя в год Чумы, еще поём и пьем
Прокишшее вино какой-то страстной были
И бредим, опьянев, о Царствии Твоём.

Март-апрель 1917

9 МАРТА

Как в дни разбитых баррикад
Те сумрачные демагоги
Витийствовали на дороге,
Ведущей прямо в старый ад,

Так ныне в первый день Весны,
Весны Семнадцатого Года,
Я в танце уличного сброда
Твои пытаю глубины.

Безграмотный гром телеграмм,
Рёв человеческого моря
Вы, жилистые руки горя,
Беззубый рот, кровавый шрам!

Ты, первый встречный человек
 На том углу, в двенадцать ночи,
 Вы, ненавидящие очи,
 Благословляю вас навек.

Март-апрель 1917

* * *

Кн. Е.П. Тархановой

И вот Она, о Ком мечтали деды
 И шумно спорили за коньяком,
 В плаще Жиронды, сквозь снега и беды
 Вломилась к нам с опущенным штыком.

И призраки гвардейцев-декабристов
 Над снеговой, над пушкинской Невой
 Ведут полки под переклик горнистов,
 Под зычный вой музыки боевой.

Сам Император в бронзовых ботфортах
 Позвал тебя, Преображенский полк,
 Когда в разливах улиц распротёртых
 Лихой кларнет метнулся и умолк.

И вспомнил Он, Строитель Чудотворный,
 Внимая Петропавловской пальбе,
 Тот сумасшедший, странный, непокорный,
 Тот голос памятный: *Ужо Тебе.*

Март-апрель 1917

* * *

Торжественно, в чеканном такте
 Она – незрима и близка.
 И сквозь весенний снег и слякоть
 За взводом взвод идут войска.

И нервный говорок валторны,
 Вливаясь по камням в дома,
 Раскалывая день просторный,
 Всех мальчиков сведёт с ума.

На океан пустого мрака
 Прожектор брызнул жёлтый взор.
 Повизгивая, как собака,
 Шмыгнул притушенный мотор.

кн. Е. П. Тархановой.

И вот Она, о Ком мечтали дѣды
 И шумно спорили за коньяком,
 В плащѣ Жиронды, сквозь снѣга и бѣды
 Вломилась к нам с опущенным штыком.

И призраки гвардейцев-декабристов
 Над снѣговой, над пушкинской Невой
 Ведут полки под переклик горнистов
 И зычный вой музыки боевой.

Самъ Императоръ в бронзовых ботфортах
 Позвалъ тебя, Преображенскій полкъ,
 Когда в разливах улиц распротертых
 Лихой кларнет метнулся и умолк.

И вспомнил Он, Строитель Чудотворный,
 Внимая Петропавловской пальбѣ,
 Тот сумасшедшій, странный, непокорный,
 Тот голос памятный: Ужо Тебѣ.

То Марсельеза в душных горнах,
В огромной кузнице мечты
На провода трамваев чёрных
Нанижет крови лоскуты.

И вот выходят добровольцы:
Иная статья, иная кровь,
Иные свадебные кольца
Им странная сулит любовь.

Утопии встречали смехом,
Но в оный день у смельчаков
Есть голос, повторённый эхом
И канонадой с облаков,

Рассыпанный на сарабанды
Сигнальных телеграмм в ночи.
И в сердце красной пропаганды
Вонзились страстные мечи.

И ураган весны идущей
Склоняется главой пред Ней,
Рождённой вновь, единосущей
Для всех времён и площадей.

И что́ земное постоянство?
Что́ ревность к дому? Пой, весна!
Над нами царское убранство,
Апрельская голубизна.

Март-апрель 1917

* * *

Босыми ноженками хлюпая
По чёрным водам снеговым,
Она, блаженненькая, глупая,
Уходит в сумеречный дым.

Весна, весна, ты, злая странница
С глазами синими, как лён,
Да разве к сердцу не дотянется
Твой колокольный перезвон?

Разученными поговорками
Шарманка просит на ночлег,
Да над дворами, над задворками
Желтеет, ах, желтеет снег.

Да разговаривают голуби:
Когда – тогда, куда – туда...
И уползает в ржавом жёлобе,
Как небо, синяя вода.

Март-апрель 1917

* * *

Так спится только молодым:
Всё беспокойно и бесспорно.

Из детских дней ползёт покорно
Горнозаводский сизый дым.

Мучительно ползёт вода,
В желтеющую рябь стекая.

Дождливый мир пересекая,
Ползут и стонут поезда.

И всё уходит в свой черёд.
Мой горизонт ножом распорот.

Закат сочится кровью в город.
Всё остальное – тлен. Вперёд.

Март-апрель 1917

* * *

Давно пора вставать. Весна. Как это дико!
Окно. И вербный куст. Густая синева.

Народ – толпится там – на площади великой.
Колокола режут. Ты здесь. И Ты жива.

И петухи поют, вонзаясь в мозг спросонок.
И белый дым повис – и дремлет – навсегда.

А где-то жизнь и смерть. Как воздух пуст и звонок.
Всё это было – Там. И будет – в День Суда.

Март-апрель 1917

* * *

Там купола обсерваторий
Сверлят нагую грудь небес.
Там воплем разрывает зори,

Откинув дым со лба, экспресс.
Там – коронованный веками
И обезглавленный навек,
С развинченными позвонками
Весну целует человек.
Туда – в самопознаныи косном
Придти – сказать: навеки Твой.
Перед туманом светоносным
С простреленною головой.

Март-апрель 1917

* * *

Я видел этот мир, как на холстах Мантеньи,
Как в гневный год судьбы – пустым и молодым.
Медно-лиловый зной навис косматой тенью.
В гортанях города крутился буйный дым.

Наёмные войска прошли вразброд, бунтуя,
Двенадцать нищих царств с награбленным добром.
Здесь голосила мать. Там пели «аллилуйя».
Там эшафот скрипел под сытым топором.

И Спутница моя издалека кивала
И пропадала вновь – в толпе, в дыму, в ночи...
Я помню, как она в тавернах танцевала.
Сквозь сон – как за неё скрещали мы мечи.

Там в дьявольском бреду она была близка мне.
Протягивала мне свой бубен. А потом
Упала вниз лицом на мостовые камни
С разбитым черепом, с открытым страшным ртом.

И много раз потом – не в памяти ли дикой? –
Танцующая тень врывалась в мир. К чему?
Чтоб отомстить за всё? Чтобы пройти уликой
Среди других улик к Престолу Твоему?

Не знаю. Мы прошли сквозь жизнь и смерть, горлана
Кошунства и мольбы. И в красных облаках
Раскинула Она измученные длани,
Танцую пред тобой, как в наших кабаках.

И уползли века, кипя и застывая.
Но можно ли теперь забыть последний тост,

Когда в горящий склеп вломилась плясовая
И злая музыка Её продрогших звезд?

Эй, ты, Изменница! Единственная! Небо!
Повыше надо мной свой звёздный шлейф раскинь.
И Кант, и Бог солгут, сказав, был я иль не был.
Но то, что будешь ты, – скажу я сам. Аминь.

Март-апрель 1917

* * *

Игра не стоит свеч. Игры не стоят свечи.
Летят лужёные планетные шары,
Оправа костылей, протезов и увечий,
Оправа некогда блестящей мишуры.

Не агитаторы – тесна любая площадь.
Не гладиаторы – без нас погибнет Рим.
Пускай хоть выдумка врунам мозги полощет.
А мы, хоть и мертвы, но правду говорим.

К тому же и добры, последние из добрых,
Последний выцветший, оборванный мираж,
Последний прыгающий, будто сердце в ребрах,
Рассказ без сыщиков, без грабежей и краж.

Лишь море хлещет к нам из корабельных люков,
Фосфоресцирует кильватер голубой,
Лишь море ластится, спокойно убаюкав
Навек – о да, навек! – ту боль и эту боль.

В преданьях стариков историей не пахнет.
У дальних правнуков своя родится знать.
А жаль, что ярлыков на наших черепах нет:
Хотя бы имена могли бы вы узнать.

Осень 1917

* * *

Она ушла. А здесь, в тюрьме давнишней,
Над грудой роз, преображённых в слово,
Я – повторенье, я – поэт, я – лишний,
Я – обречён любить. Как это ново!

Зажать в руке горсть золотых секунд.
Идти за ней, взметая чёрный след.

Знать и предвидеть не Престол, а Бунт.
И умереть. Здесь впредь дороги нет.

Осень 1917

* * *

Ещё надежда не иссякла,
Что красный ураган крутя,
К созвездью короля Геракла
Направит фаэтон Дитя.

Ревы во все рога, Природа!
Игра достойна свеч, пока
Огнепричастьем Кислорода
Сильна вожатая рука.

Осень 1917

* * *

Мраморной глыбой валится гром,
Пышную грудь разрывая.
В крепкое темя бьёт топором
Молния сторожевая.
Ринулся, хлещет, бьётся с листвою
Ветер в камзоле атласном.
Эх, размахался над головой
Факелом смольным и красным.
Ветер уходит, сворой волков
Веет из вражьего стана.
Небо сгорает кровью веков,
Словно любовь Тристана.

Осень 1917

CHEVALERESQUE*

Приди, золотокудрый дождь!
Труби, огромная фанфара!
Надуйтесь, трубачи Тоннара!
Когда из дальних, дымных роц
К вам донесётся ржанье куней –
Ma Belle**, будьте на балконе!

* Рыцарское (*фр.*).

** Моя красивая (*фр.*).

Есть в жизни много перемен –
Но от Зенита до Надира,
Хоть объезжай все графства мира,
Нет слаще музыки. Амен.
Нежней Любви, нужней Грааля
Весна труверу Провансаля.

Осень 1917

RENAISSANCE*

Встаёт прекрасный день из красных облаков.
Летит мой страстный конь. Сквозь частый звон подков
Я слышу позади предсмертный храп Дракона.
Цветущая земля блистает, как парча.
Твоя весна горит на острие меча
И в радуге Грозы. Спаси меня, Мадонна!
Здесь на Твоей земле я бился сотни лет –
И вот рассыпался чешуйчатый хребет
На тысячу колец. Отпрянула Химера.
Но я теперь отдам всех дней моих грозу
За то, чтобы найти простую бирюзу
В кольце возлюбленной, чьё имя – Примавера**.

Осень 1917

МУЗЫКА

Ты в летаргии голубой.
Твой шаг тревожен и неровен.
Но хлынул через край прибой,
И вот, дрожа, глухой Бетховен

Провел рукой по волосам...
Слабеют колдовские узы,
И вторит башенным часам
Та скрипка с головой Медузы.

Летит Ленора в лунный край
Искать единственного друга.
Теперь гори и не сгорай
И бейся в склеп крылами, вьюга!

Осень 1917

* Возрождение (*лат.*).

** Весна (*primavera; лат.*).

ИОАННА д'АРК

Когда с опущенным забралом,
 Водительница пыльных стад,
 Она по горным пьедесталам
 Сойдёт, изнемогая, в Ад, –
 Когда знакомый с колыбели,
 Крылами старыми звеня,
 Тот Ангел с ликом Лионеля
 Поможет ей сойти с коня, –
 Ты, пролетающая над бранью,
 Чью славу пели трубачи,
 Небес грядущему избранью
 О свадьбе Девы умолчи.

Осень 1916–1917

* * *

Евгению Куммингу

Бесчисленны миры в сиянье старой лампы.
 Овидий и Шекспир проходят чередой.
 Гравюры ворожат. И движутся эстампы.
 И ключ визжит в замке. И спит петух седой.

А книги – сторожа. Твой парк – англлизирован.
 Но теннис подождёт и день и круглый год,
 Пока заветный ямб не будет расколдован
 И не приедет к нам на дачу Дон Кихот.

Вот ребус короля, вот трудная шарада –
 Слить воедино меч и школьный карандаш.
 Ах, Женя! Может быть, сама Мадонна рада,
 Что в рыцарском бреду метался ночью паж.

Осень 1917

ГОРЕЛКИ

Глянь на небо – заря опоясала
 Красным золотом свадебный луг.
 Гори ясно, чтобы не погасло,
 В голосистом кружале подруг.

Стеклeneют ли глазоньки синие?
 Разметалась ли ветром коса?

Погасает ли в синей пустыне
 Многозвёздная злая краса?

Али август звенит у околицы
 В многотонный и сладкий рожок,
 Чтобы снились венчальные кольца,
 Чтобы цвёл-расцветал посорок.

Чтобы окна твои занавесила
 Покосившая пряжа дождя,
 Чтобы стало ни грустно, ни весело,
 Чтобы друг засвистел уходя.

Осень 1917

* * *

Дай мне вспомнить, что Сегодня и Вчера –
 Только искры разметённого костра.
 Ты, ключи вонзивший в сердце Часовщик,
 Пожалей меня за то, что я – старик.
 Я – твой город на заморском берегу,
 Паруса твоей Свободы стерегу.
 Хлещет в мир крылами Друга ураган.
 Этот ветер – полых раковин орган.
 Это сердце – дикой флейты голосок.
 Как бы только не стрельнуть ещё в висок.

Осень 1917

* * *

Твоих ли уст я услышал молчанье?
 Струится флёр и дышит флореаль, –
 Но, может быть, всего необычайней
 Фарфоровое небо и рояль.

Или когда, как флорентийский сокол,
 Струилось сердце на руку Твою, –
 Увы! Тогда в поту февральских стёкол
 Окаменел я фавном и стою?

Но если ты даруешь мне терпенье
 И если память захлестнула Ты,
 То заглуши бесцельной флейты пеньё.
 На дне фонтана кружатся листья.

Вот осень вновь в разгаре злого пира
 Сквозь танцы ассонансовых стрекоз
 Раздвинула туманный фон эфира,
 И понял я, что есть апофеоз.

Осень 1917

* * *

Клоун – бедный иностранец сдохлым сердцем под жилетом.
 Клоун – гипсовая маска с чёрной раной вместо губ.
 Клоун без ангажемента, захотевший стать поэтом,
 Оттого, что в рваной шляпе есть дыра для сточных труб!
 Эй, шатайся по бульварам, по театрам бейся, Клоун,
 Сердце может задохнуться – пропадёт сапожный лоск.
 Безобразный грим сотрётся. И тогда косым наклоном
 Мелкий дождик заструится желобами в пыльный мозг.

Осень 1917

ТРАГЕДИЯ

Мерцает бронзовая поножь.
 Змеится шёпот лунных уст:
 – Отец! Куда ты ветер гонишь?
 Ужели ржавый панцирь пуст?
 – О, Гамлет! Двигутся буруны
 В неистлевающем мозгу.
 Я над тобой, седым и юным,
 Ночное Царство берегу.
 И выйдет отрок с книгой странной,
 Сжимая в верных пальцах нож,
 Дабы на хартии раздраной
 Построить замысла чертёж.
 Тебя ли, Ночь, он растолкует?
 Пускай в лилеях тонет гроб,
 И сумасшедший поцелует
 Утопленницы чистый лоб.

Осень 1917

* * *

Я остаюсь на страже ветра
 И самого себя. Пускай

Остались три-четыре метра,
 Чтобы приснились ад и рай.
 Ни тени, ни струи, ни вздоха.
 И тянет, тянет ото сна
 Кривая рожа Скомороха,
 Мертворождённая луна.
 Натягивает брюки жалкий,
 С трудом вдыхает кислород.
 Вот узелок висит на палке,
 Вот искривлён зевотой рот.
 Под крыльями картонной шляпы
 Загнулись брови колесом.
 Между лиловых губ вошла бы
 Пыхтелка с гаснущим концом.
 А в небе тот же крест Голгофы.
 И мёртвый под луной продрог.
 И жизнь, наряженная в строфы,
 Уходит тенью из-под ног.

Осень 1917

ДИМИТРИЙ ЦАРЕВИЧ

Россия! Жги посадки и деревни!
 Я слышу – вновь
 Глухим ключом, ключами были древней
 Взыграла кровь.
 Я – Твой Царевич, венчанный судьбиной.
 Я идиот.
 Из Кракова, из Пскова – ястребиный
 Слежу полёт.
 И снится мне Московская Держава,
 Мой страшный путь.
 И Царь Иван костыль златой и ржавый
 Вонзает в грудь.
 Явленный лик из Голубиной книги –
 Мой маестат.
 Гудят Кремли во сретенье расстриги,
 Кнуты свистят.
 Анафема! Престольный звон вечерни!
 Панна! Прости –
 Мой выколотый глаз над воем черни,
 Мой свет в пути.

Осень 1917

* * *

А. Керенскому

Это верный оплот и награда.
 Это – каменный герб Петрограда.
 Это – Бирона гнусный каприз.
 Это – тройка, летящая вниз
 Под ямщицкую пьяную песню.
 Это веянье утра: воскресни!
 Это голос, безумный от спазм.
 Это сорванный энтузиазм.
 Это ветер на отмели Невской.
 Это злой и святой Достоевский.
 Выходи же, Керенский, на смотр.
 Ты нам меч. Ты нам Спас. Ты нам Пётр.

Июль 1917

* * *

Город, как пьяный Царевич, играет
 Черепом злого шута.
 Там, на больших площадях, догорает
 Праздничная пестрота.
 Там содрогается жизнь поколенья,
 Пригвождена на ветру.
 Нам ли у Бога просить исцеленья?
 Мы прогадали игру.

1917

* * *

Я слушаю гаканье в чайных,
 Трезвон топоров по оврагам,
 Да ветер в заводских гудках.
 Я знаю – ты гибель отчаянных,
 Ты треплешься праздничным флагом,
 Ты – флейта в беспутных руках.
 Ты снишься сквозь ночи и зимы
 Девицей, рекой, воеводой
 В терновой короне побед.
 И посланы в бред серафимы –
 Да сереброкрылой свободой
 Раздвинут скитальческий бред.

Поют над босою девчонкой,
 Встают и поют с петухами,
 Над каждой неправдой поют.
 Мерещатся в комнате звонкой –
 Твои ли послы за стихами? –
 И выход на площадь пробьют.

Осень 1917

ХУДОЖНИК

1.

Трава зелёным солнцем внутренним
 Топорщится и спит шурша.
 В густом ультрамарине утреннем
 Танцует смуглая душа.
 Легко ли Бога передразнивать?
 Но надо, сердце доплеснув,
 Разрытый солнцем склеп отпраздновать,
 Как залетейскую весну.

2.

Безумный Краб расплещет облака
 И доползёт на острие зенита.
 Дубрава зелена и ядовита,
 И есть глаза у каждого цветка.
 Мне надо стать песчаной крутизной,
 Чтоб дотянуть гангреновые руки
 К вам, Госпожа! Как мало в этом муки:
 Ван Гог писал без шляпы в самый зной.

3.

Терзают трезвонами день.
 Как будто ключами певучего Царства
 Гремит и гремит золотое коварство
 Над тёмной заботой седых деревень.
 И облако, влажной прохладой дыша,
 Как лебедь плывёт за Ункрадой.
 И гром покрывал многотонной руладой
 Ущелье, в котором теснилась душа.

Осень 1917

* * *

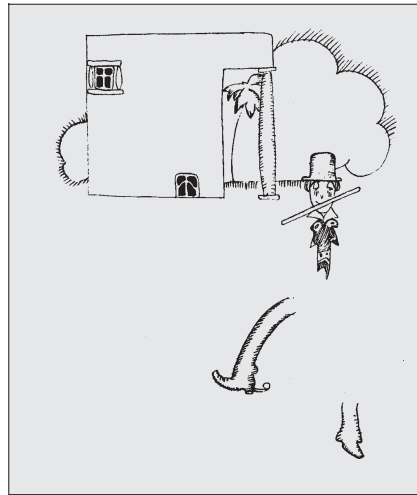
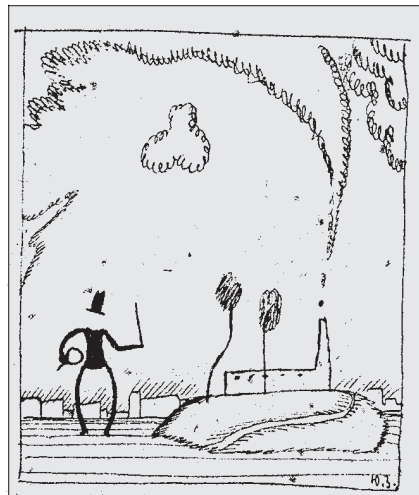
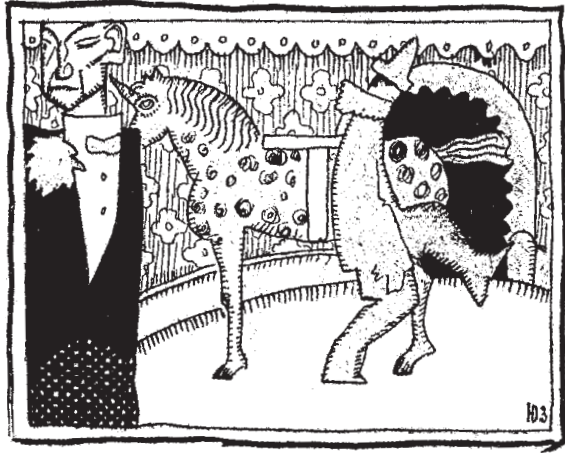
Н. Игнатовой

Москва – в лазури колокольной,
 В охотнорядской толкотне,
 В той – прошлогодней, сердобольной,
 Бульварной, разбитной весне.
 Москва – под снеговым покровом,
 Где в низенькие терема
 Всю ночь к боярышням безбровым
 Струилась звёздная зима.
 Где голуби летали низко
 И ворковали у крыльца.
 Где Царь с глазами василиска
 Казнил заморского гонца.
 Где бедный рында в горностае
 Рассказывал о том Царе
 Крестам и лебединой стае,
 Плескавшей крылья на заре.
 Москва – где мой ночлег далече,
 Где самый возглас превращён –
 В одну-единственную встречу,
 Которой не было ещё.

1917



Обложка работы Анюковского
 вышивки – Ю. Завадского



«С ВАМИ БОГ И ТАМ И ТУТ...»

Стихи 1918 года

СТУДИЯ

Разбитый колокол взлетел
 Под ветром плясовым.
 И Новый Год спешил и пел
 О мертвецe – живым.
 Солдаты шли с мешками вниз
 С вокзала на вокзал.
 В окне, где был отбит карниз,
 Гремел семейный бал.
 И рухнул колокол в огонь
 Коловоротом вьюг.
 И чей-то тонконогий конь
 Летел в ту ночь на Юг.
 И всадник на коне считал
 Веками гулкий шаг.
 И в тонком облаке блистал
 Крест сумасшедших шпаг.
 И с кем-то бился он в ту ночь,
 В ту ночь под Новый Год.
 И кто-то встал ему помочь
 У райских у ворот.
 И ветер пробивался сквозь
 Торжественную боль.
 И в чёрных окнах пронеслось
 Твоё лицо, Король!
 И ты, Сереброкудрый Бог, –
 Король – Старик – Метель! –
 Качал у материнских ног
 Святую колыбель.
 И жадный рот ко рту прильнул.
 И колыбель плыла,
 В один многолавиный гул
 Смешав колокола.

Зима-весна 1918

* * *

Сон забытый рассыпáлся, рассыпáлся, рассыпáлся,
 И, рассыпавшись, метался: о, скорей иди домой.
 Зимний Город просыпáлся, просыпáлся, просыпáлся
 Многовёрстной, многолюдной, дымной, вьюжной кутерьмой.
 Ты звездой зеленоглазой в эти ночи мне блистала.
 Просочилась дикой флейтой в Гайавату и Регтайм.
 Снилось мне заморской птицей. А когда мне трудно стало, –
 Ты дохнула тихим пенъем. Чьим? Олениной д'Альгейм.
 Что мне помнится? Шоссейный сонный путь да поздний ужин,
 Петухи, да жёлтый месяц, да туманный бред стихов.
 О тебе ли я мечтаю? Или зимний ветер нужен
 Только им, идущим в школу с лёгкой парюю коньков?

Зима–весна 1918

* * *

Г. Завадскому

Буря дискантов. Рыжие трубы. Тысяча роз.
 Брат мой наездник с бешеной прядью белых волос.
 Мчится аллюром. Розу губами взял на лету.
 Грохнулся наземь. В небо проснулся. Сжёт пустоту.
 К чёлке пригнулся. Хлыст над собою поднял легко.
 Фалды, как крылья. Вот он гарцует в звёздном трико.
 Вот они – графства – губы – театры – мир – города.
 Сорок миллиардов долларов плата за выходá.

Зима–весна 1918

ВОРОН ГОВОРИТ

Не терплю я закутанных в плед.
 Не веду я семейных бесед.
 Я качаюсь на сонной ветке,
 На морозе танцую в жилетке,
 Пролетаю тысячи миль
 И пускаю в глаза вам пыль.
 Я умею картавить злобно,
 Пересказывать сказки подробно,
 Много раз в один день умирать
 И в краплёные карты играть.
 И веду я крылатого графа.
 И звенят провода телеграфа...

У меня так много имён,
 Что, влетая из чёрных времён
 В это сонное, бедное графство –
 Призрак – истина – самоуправство, –
 Я одним говорю «никогда»,
 А испанки танцуют Handá*.
 А другие, дрожа от испуга,
 Слышат карканье в голосе Друга.
 А ты за фрак и жабо
 Называй меня Maitre Corbeau**.

Зима–весна 1918

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Полночь. Защёлкнулись дверцы кареты.
 Все распрощались. Тронулся сон.
 Мчатся безумцы, актёры, поэты.
 Хлыст кучерско́й, как смычок, занесён.

Ночь выпекает придворные торты,
 Ночь высекает огниво сердцам,
 Ночь саламандрой летит из реторты.
 И мандрагорой цветёт мертвецам.

Мимо! Сквозь призраки скошенных окон,
 Сквозь чехарду с этажа на этаж, –
 Ночь мою брачную, бурный мой Броккен,
 Бешеный заштриховал карандаш.

Мимо! Туда, где гроза корчевала
 По облакам бурелом топором,
 Где городская весна горевала
 С дикой оравой чёрных ворон, –

Там моё прошлое руки простёрло
 С конченой юностью накоротке.
 Шарф замотал пересохшее горло,
 Глаз фонарём опрокинул в реке.

Школьник, шалым от шума лесного,
 В прошлых веках путешествовал сон,
 Был колесом он и был колесован,
 Корку делил с дрессированным псом.

* Имеется в виду Andá Jeleo (исп.) – испанский танец цыганского происхождения.

** Господин ворон (фр.).

Эх, расскрипелись колёса на камне!
 Мокрое, низкое небо – хоть плачь...
 Будет ли новая юность легка мне?
 Трогай! Не остановишь кляч...

Зима–весна 1918 (1972)

ЭДМОНД КИН

Лондонский ветер срывает мокрый брезент балагана.
 Низкая сцена. Свечи. Холст размалёван, как мир.
 Ложи встают горбом. В райке – напор урагана.
 Гонит за гибелью в небо пьяных актёров Шекспир.
 Макбет по вереску мчится. Конь взлетает на воздух.
 Мокрые пряди волос лезут в больные глаза.
 Ведьмы гадают о царствах. Ямб диалога громоздок.
 Шест с головой короля торчит, разодрав небеса.
 Ведьмы летят и поют. Занавес бедный задвинут.
 В ключья разорвана страсть. Отхлынул в ночь ураган.
 Кассу считает Директор. Полночь. Стол опрокинут.
 Леди к спутникам жмутся. Заперт пустой балаган.

Зима–весна 1918

ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ

Величанный в литургиях, помазуемый попами,
 С гайдуком, со звоном, с гиком мчится в страшный Петербург,
 По мостам, столетьям, вёрстам мчится в прошлое как в память
 И хмельной фельдъегерь трубит в крутень пустозвонных пург.
 Самодержец Всероссийский! Что это? Какой державе
 Сей привиделся курносый и картавый самодур?
 Или скифские метели, как им приказал Державин,
 Шли почётным караулом вокруг богоподобных дур?
 Или, как звездой мальтийской, он самой судьбой отравлен,
 Или каркающий голос сорван в мировой войне,
 Или взор осатанелый остановлен на кентавре
 Фальконетовом, иль пляшет хвост косицы на спине?
 Нет, ещё не всё пропало, – бьёт Судьбу иная карта,
 Станет на дыбы Европа рёвом полковых музык!
 Нет, ещё не всё известно, отчего под вьюгой марта
 Он империи и смерти синий высунул язык.

Зима–весна 1918

* * *

I.

Не зная, где ему награда,
 Синклитом ангелов прощён,
 Преступник улизнул из ада
 И воплотился в новый сон.
 В тавернах пусто. Лепорелло
 Ключёт совиным носом. Ночь
 Изнемогает тарантеллой.
 И ничему нельзя помочь.
 Вино разбойной контрабанды
 Заплесневело в погребах.
 Дуэньи, кардиналы, гранды
 Потягиваются в гробах.
 И сторожем пустого склепа,
 Откинув театральный вздор,
 В костлявых кружевах, нелепо
 Стоит усталый Командор.

II.

И разве есть такая сила,
 Которая бы в этот день
 На поздний ужин пригласила
 Глухого Истукана тень,
 И разве не благоуханны
 Цветы кладбищенских оград?
 И разве есть у Донны Анны
 В пустыне мира бедный брат?
 Нет. За её плечами крылья,
 И веер на ветру поник.
 Теперь читает вся Севилья
 Её блистательный дневник.
 Смотри – и на любой странице
 Знакомый бред. Земля пуста.
 И Дон Хуана в плащанице
 Старуха совлекла с креста.
 И голову в крови на блюде
 Сатрап танцовщице даёт.
 И снова – тарантелла, люди!
 И снова – страстный день встаёт!
 И мертвецы не имут срама!

Есть и дурак – и трус – и вор!
И завтра вновь по грудам хлама
К нему нагрянет Командор.

Зима–весна 1918

* * *

Н. Игнатовой

Вот графство сонное – в моей тетрадке,
Где вместо шпаги служат мне слова.
В театре обыск – вместо клетки льва.
И я никак вам не найду перчатки.
И, отделив коня из кавалькады,
Барон Делорж кричит: «Бродяга, стой!»
Эх, кабы мне отбить у тени той
Лихую спесь не требовать награды.

Зима–весна 1918

* * *

О, любите её стами сотен,
Стами тысяч целующих глаз!
Будет самый влюблённый бесплотен,
Кто же самый влюблённый из вас?
И пускай она станет приманкой
Для врагов, и друзей, и князей,
И бумажным цветком, и шарманкой,
И стаканом для братии всей.
Оттого, что к утру вырастая,
Как заметили Пушкин и Блок,
Разобьётся бутылка пустая –
И она улетит в потолок.

Зима–весна 1918

* * *

Как жил? Я не жил. Кто позвал? Забыл.
Я только помню, как тебя любил.
О, вейся, флаг, как чьё-то восклицанье!
Разлейся в трубах, ржавая вода!
Расмейся, шут, над словом «никогда»!
Я на тебя молиться буду втайне,

Канатная плясунья, чьё трико
Летит сквозь мир и пляшет высоко –
Над скрипачом, над карликом, над Богом,
Над каждым воплем спьяну и со сна:
– Россия! – Мама! – Истина! – Весна! –
И над моим предсмертным монологом.

Зима–весна 1918

* * *

Я глубоко дышал от утра до заката,
Блистательно дышал – всей жизнью родовой,
Я узнавал в Тебе – Гонца – Актёра – Брата
И спорщиком вошёл в ночной театрик Твой.
Я должен доиграть. Меня не переспоришь.
Ты – слушай и молчи, кивая головой.
В тиши библиотек и в сумасбродстве собираишь
Не раз Ты звал меня. И начатую речь
Ты нагло прерывал. И лил в мой кубок горечь.
И в грудь вонзал смычок из круга жёлтых свеч.
В комедии пустой стал гневом Поколенья
И криком петуха перекричал картечь.
Теперь идём вперёд. Нам нету исцеленья.
Но над Тобой и мной летит одна Метель.
Развоплощённые, мы знали повторенье,
Качая в облаках друг другу колыбель.

Зима–весна 1918

* * *

Услышь меня – Ты, ослезивший грозы
И доплеснувший до меня весну!
Рождай шагами лилии и розы!
Дыши в лицо сторожевому сну!
Те, кто живут, они меня забыли.
А кто забыл, не обернётся вслед:
Не помогли младенческие были,
Зарытые в мой замогильный бред.
Я выпрямлен раскатом многократным,
И дрогнешь Ты со мной на страже сна.
И мне ли знать в моём огне бесплатном,
Какая там – над нами – высота?

Но я живу всем торжеством и дымом,
Которые умрут со мной навек.
Перед Тобой, ослепшим Серафимом,
Поводырем плетётся человек.

Зима-весна 1918

* * *

Мы знали праздники, которых
В аду и в небе не забыть.
Да, самое большое – быть
В себе самом, в мечтах, в просторах,
И в той, кого нельзя добыть.
Да, самое большое – помнить
И видеть зоркость глаз
То, что открыто напоказ:
Что ничего нельзя исполнить
Трезвоном балаганных фраз.
Что всё прелестно и нелепо,
И всё рассыплет вновь рука,
Как золотую горсть песка,
Как вальс в отчаянье вертепа
И как остроту чудака.

Зима-весна 1918

* * *

Барабаны бьют тревогу. Кони чёрные стучат.
Проплывают в касках мимо кирасиры. Виснут шпаги.
Руки в кованых перчатках. Тяжело усы торчат.
В небе треплются вороны. И на шпилях выются флаги.
Император на балконе хмурит желчное лицо.
– Sire! В театре арестован тот наглец – Не сознаётся?
– Нет. – Он жалок? – Он безумен: тычет нам своё кольцо, –
Говорит, подарок Дамы, за которую он бьётся...
Император на балконе смотрит в небо и молчит.
Он мечтает о мазурке – о венчанной судомойке –
Об изгнаннице – о смерти – и о славе. Дождь стучит.
В небе треплются вороны. Император спит на койке.

Зима-весна 1918

* * *

Из кубка поднялась змеиная головка.
Манон Леско – цветок – анахронизм – издёвка?
Не ты ли на ветру, закутанная в плащ,
Как чайка, маялась над чернотой мачт,
А волны пенились всей горечью Фалерно
И золотом Бордо над руганью галерной?
Не твой ли я слышал беспутный голосок,
Когда из чёрных вен хлестнул заклятый сок,
И пела ты, сломав рапиру иноверца:
– Будь весел! Пей меня! А мне не надо сердца.

Зима-весна 1918

* * *

Червонцами, отсыпанными щедро,
Задобрили в ночной таверне смерть.
Дон Мигуэль Сервантес Сааведра
И тень его, скрипучая как жердь.
И солнце – герб на ветхом фолианте.
И есть вино у городских зевак.
И не спеша, верхом на Росинанте
Въезжает в мир Ламанческий чудак.
Уснул Мерлин, иссякла грудь Роланда
И мельница – глупа и весела.
И топчется комедиантов банда.
И Санчо Панса потерял осла.
А наверху, где сельской были проза
Слагается в скитальческую дурь,
Ещё гогочет девка из Тобозо,
Просунув нос в бумажную лазурь.

Зима-весна 1918

* * *

А.Ф. Керенскому

Дрожит рука в тугой перчатке.
Народ – глазеет на балкон –
На эшафот победы шаткий,
Где красным палачом – закон.
Глаза Отрепьева. Отрывист
Твой бред, растоптанный судьбой,

Врастающий, летящий вырасти
 Хлыстом и свистом за тобой.
 Россия – там. Как будто горло
 Зажато клочкотаньем спазм.
 Как будто – площадь распростёрла
 Тебе свой плащ – энтузиазм!
 Ступай – лети – не спи ночами –
 На фронт – на гибель – в Петроград.
 Не за твоими ли плечами
 Бежавшей Армии парад.
 Не за твоей ли наглой славой,
 Свистя в расколах финских скал,
 Конь Фальконета медно-ржавый
 Вниз по проспектам доскакал.
 Или, быть может, в наши годы
 Вломился за тобой, лжецом,
 Со шхуны на делёж Свободы
 Тот Шкипер с бешеным лицом.
 И бьёт озноб. Поют солдаты.
 Россия – Там. Она глядит
 Под плетью Заработной Платы
 Гудками дикими галдит.
 И сорван флаг под ветром серым...
 Там – в Минске, на Дону – для нас
 Над безымянным Офицером
 Штандарт развёрнут... В добрый час!

Лето 1918

* * *

И опять за плечами Петра
 Закачался пустой Петроград
 И Нева широка. И пора
 Выйти водам из тёмных оград.
 И коням – улететь на парад.
 И опять пролетал Истукан –
 Бился медью в сердца и виски.
 И звенел за стаканом стакан,
 Выпадая из пьяной руки,
 А дома – высоки, высоки.
 И опять в Департамент пешком.
 И пергамент реляций скрипит.
 И гусиным пером, как штыком,

Пронзена чья-то грудь – и хрипит.
 И опять – Время больше не спит.
 И летит. И весна. И навек
 Уплывает Нева. И пора
 Разливаться ста тысячи рек, –
 Императору слушать «ура»,
 Офицерам стоять за Петра.

Лето 1918

ЦЫГАНСКАЯ ПЕСНЯ

Дай руку, барышня! Ай погадаю.
 – Откинув кудри с каменного лба,
 К земле разбитой грудью припадая,
 На костылях – встаёт – летит Судьба.
 По облакам кочует бедный табор –
 Встают арбы горбами... Эй, Луна!
 Вставай, Луна. Сегодня помогла бы
 Гитара нам, не только ты одна.
 Вставай, Луна! Мы провороним вымах
 Бессонных улиц, пьющих кубок твой.
 Вставай, подруга бед непоправимых,
 Как серп кривой над мёртвой головой!
 Напрасен жар. Бесцельна непогода.
 Изменит друг. И младости не жаль.
 И только за плечами пешехода,
 Как два крыла – разорванная шаль.

Лето 1918

ЦЫГАНСКАЯ ПЕСНЯ

Припадаю губами и, брэнча кандалами,
 Подымаюсь – и пьяный выхожу на турнир.
 Не возил контрабанды и не плакал о Даме,
 За твоими крылами не кончается мир.
 За гнилыми дворами есть большая дорога.
 Над былыми кострами есть большой Млечный Путь.
 Там мы были когда-то и не знали острога.
 И падучие звёзды к нам упали на грудь.
 С пьяным Ангел шатался так напрасно и низко.
 И цимбалы звенели – подымали от сна.
 И росло до зенита Солнце в шали индийской,

Ятаганом турецким подымалась Луна.
 Наши вёрсты не меряны, а стакан уже выпит.
 Нас и ветер не радовал, да в лицо бушевал.
 И гремел кабаками разметённый Египет –
 Голубыми белками над веками вставал.

Лето 1918

ЖАННА д'АРК

А. Орочко

В час мой последний
 Пою.
 Золотом страшной обедни
 Лижет усталость мою
 Галльского шлема перо.
 Гневом моим расцветает земля.
 Орифламм серебро
 И Собор Короля
 Предаю
 Верным полкам.
 Вот он – галоп по моим облакам.
 Дева в раздавленных латах лежит.
 В кованой раке Руана.
 Конь белогрудый летит – и дрожит
 Принц, коронованный рано.
 Вот едет Король мой на пашне,
 На пашне, где дождь голубой.
 И слышит Король мой на башне
 Военного грома прибой.
 В тени колыбельного Дуба,
 Под шум корабельных морей
 Склоняются гневные губы
 К железной перчатке моей.
 Вот час мой последний, закат мой.
 И пурпурный траур костра.
 Мой Ангел, Король мой и Брат мой,
 Верна вам слуга и сестра.
 Прощайте! Дышу и сгораю.
 Зола в дымно-серых глазах.
 И ветер прохладного Рая
 Играет в моих волосах.

Лето 1918

* * *

Я шляпу снимал под Луною, стоявшей, как бронзовый идол.
 Я глаз не смыкал до рассвета и выветрил губы в любви.
 И Ангелы мне изменяли, и чёрт меня знал и не выдал.
 Шныряли по улице кошки, роняя мне тени свои.
 А если – а если – а если грудного дыханья мне хватит
 Дышать в эту мглу

и ломиться в сердца неподвижных планет.

Пускай из мощны своих ветров мне тёмное утро заплатит
 Не сказкой, а звонкой монетой – звончее нам музыки нет...

Лето 1918

* * *

О, это утро – Твой подарок
 Всем, кто целуются и пьют.
 Старинный Город – чист и жарок.
 Девчонки розы продают.
 Ты возникла над кроватью –
 Сквозь груды книг, сквозь пепел роз
 В серебротканом пышном платье,
 В короне золотых волос.
 Я знаю – жар чугуновой розы
 Закован в башне облаков.
 И молния – копьём угрозы
 Свисает к трубам чердаков.
 Но над окраинами – выше –
 Над перьями свистящих рощ –
 Танцуешь Ты на плоской крыше –
 Моя возлюбленная – Дождь!
 Кнуты стреляют по оврагам,
 Скрипят мосты под конским шагом.
 Трещит качелями ольха,
 И песня выдаёт злодея,
 И мальчишки пускают змея,
 И ведьма режет петуха.
 И пьяного портного стойко
 Удержит от мечты дурацкой
 Утюг, припрятанный в карман.
 А ты бы над ночной попойкой

Взлетел за скрипкою кабацкой
К тебе на свадьбу в твой туман.

Лето 1918

* * *

Мой острый клюв стучится в ночь забвенья.
Пуста, как жизнь, и тяжела сума.
Лохмотья крыл, чьё имя «Вдохновенье»,
Даны мне, чтобы вновь сойти с ума.
И я сойду – о, не с тобою, Дама!
Ты в буре сна забудешь древний дым.
А мне бы сжечь как можно больше хлама,
Чтобы в дыму проснуться молодым.
И будет день – торжественный и наглый.
Та музыка да будет мне тюрьмой.
И мой двойник войдёт со шпагой наголо,
Прочтёт указ и выбьет кубок мой.

Лето 1918

* * *

Скрипит железный крюк над колыбелью.
Младенец мёртв. В ушах сиделки – плач.
Вся комната пронизана метелью.
В огромном небе чьё-то ожерелье,
И чей-то конь несётся в небо вскачь.
Но тень того, который раз поплакал
И в плаче том не понял ничего,
Чей бедный трупик стал добычей мрака,
Та тень идёт за мною, как собака,
Всей музыкою мира Твоего.

Лето 1918

* * *

Вот мир, отягощённый цепями книг и песен,
В круговорот легенды всей грудью распростёрт.
Для Смысла был он тёмнен, для Вымысла был тесен.
И Дух Земли над сонным выиграл со дна реторт.
Гербом Кремлей горбатых Георгий расцветает.

Тугой канат протянут вниз от его копыя,
И на канате струнном танцор ножи глотает,
Пронизанные светом десницы Твоя.
Ты окна голубые затягивала газом.
Ты мне вонзила в сердце румынской скрипки визг.
Ты ливнем нисходила в окаменевший разум –
Фонтаны рассыпала на сотни струй и брызг.
И вот играют громы – сражаются с Драконом.
И тучи распухают, как пена алчных морд.
И Дух Земли – как ветер над городским законом,
Где каждый глупый школьник своею скукой горд.

Лето 1918

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Громыхают по дорогам колымаги,
Дилижансы и почтовые кареты.
Много клерками исписано бумаги.
Много тёмных зал каминами согрето.

Унесла метель по тракту злого друга.
Родился младенец – а в притоне драка.
Извиваются лъстецы в костлявых фраках.
Леди крякнула, как кукла, от испуга.

А ещё бывает – молодость уходит.
И камин потух – и всё не спит бездельник.
Только глаз от счётной книги не отводит.
Только знает, что когда-то был Сочельник.

Лето 1918

* * *

Летела Дама в театральный бред,
Израженная жаром многих уст.
Был Город страшен. А Театр был пуст.
И у ворот стояло сто карет.
И лошади продрогли. Наугад
Тащились. И кричали кучера.
Какой-то лъстивый чёрт по вечерам
Торчал за ней, наряден и богат.
И были розы, тосты и оркестр,
Храп рысака, и дождь, и дрожь моста,

И красный шрам от страстного хлыста,
И страшное, как хлыст, вино торжеств.
Дурак Директор пошлость отмочил.
Попискивал ребёнок на руках
У нищенки. И некто в облаках
Фату и фрак в ту осень обручил.

Лето 1918

МУЗЕ МОЕЙ

А ночь твоя белой была.
Для девочки, знающей много,
Найдутся в котомке у Бога
Два сильных и страшных крыла.
Рассказом ночным захлебнулась
Там, в облаках,
Ты с куклой разбитой в руках
В темнице военной проснулась.
Закутала куклу в лохмотья позора.
А там – над шагами Ночного Дозора,
Где сокол в ермолке летит,
Где бог на фронтоне Театра с конями,
Где плачет Скрипач над грошовыми днями,
Где Ангел, который простит, –
Там блеск Династии истлевшей,
Там ветер, над стражей свистевший,
Да детское сердце твоё.
Да кружев раздраных тряпьё.
Там локоны слабой Инфанта,
Златые, как нимбы Мадонн,
Натянуты в струны. И вот музыканты
Настроили скрипок пронзительный звон.
Взлетают смычки над упавшей кулисой,
Над брошенной ложей, над нищей актрисой,
Над гостьей, купившей билет в балаган,
И снова летит ураган.

Лето 1918

* * *

Песней Город богатый добыт.
Там – под такты военных копыт,

Под венгерскую дробь кастаньет
Да под музыку жалких монет
Юный Дух необузданно пьёт.
День, который над башней встаёт.
Ветер шляпу срывал и трепал,
Подорожным кустом закипал.
Дикий ветер и перья куста –
Всё развалится в сказке шута.
Обезглавлен мой утренний сон,
Частоколом голов обнесён.
И растёт он в крылах на Зенит,
Где смычок Паганини звенит –
Дерзкий, как петушиная дурь,
Нагнетённый дыханием бурь.
И как будто в нём Гамлет грустит.
И как будто бы – карлица льстит.

Лето 1918

* * *

Я был колесом фейерверка
Подхвачен – и вспыхнул – и сыпал
В ответ голосам петушиным
Хлыстами сигнальных ракет.
И время – портновскою меркой –
Счетов неоплаченных кипа –
Глотало аршин за аршином
Мой бред – и кружился паркет.
И в фокус моей алебарды
Скрестились все звёзды турнира,
И красные фалды взлетали
И драли мальчишку за кражу.
И золото шло к дуракам.
И там – танцевали бильярды
На сукнах зелёного мира.
И там – поезда хохотали
И плакали трубы. И сажу
Размазывали по щекам.
И там эти стёртые лица,
И пиво из кружек шипучих,
И жулик с краплёной колодой,
Как птица ослепшей судьбы,

И тянется в сквер вереница,
 И ветер в обсвищенных сучьях
 Над пылью – над швалью – над модой
 Вдвигает бульвар на дыбы.
 О, жизнь моя! Будет нам плакать.
 Не правдой вселенской, так пьянством –
 Не в громах Суда, так из флейты,
 Не Богу, так мне удружи.
 Пошли хоть дорожную слякоть
 И там – по мостам и пространствам,
 По лужам стаканы разлей ты
 И спутай мои чертежи.
 Кочуй по окраинам, сея
 Букетики низких фиалок.
 Я видел: ты только подуешь,
 И валится на спину пьяница,
 И в окна вливается день.
 О, будь мне сестрой и Россией.
 Под небом, под окриком галок
 Ты всем, чем угодно, торгуешь,
 Бросаешь ты кости, и тянется
 Времён и миров дребедень.

Лето 1918

ИНТЕРМЕДИЯ

Чёрт поддержал меня плечом.
 Тёртый калач, он был учён
 И фокусничал чисто:
 Устроил в нужный час успех
 И стоил он всемирных всех
 Конгрессов анархистов.
 Сказал: взбирайся на плечо,
 Сигай по звёздам. А ещё
 Подпишешь вексель кровью.
 Плати не деньги, а гроши,
 Останется и без души
 Душевное здоровье.
 Сказал он, плюнул и утёк.
 Слова – обман. Но есть плевков.
 Что стоит чёрту сплюнуть?
 Вся сила чёртова плевка

В том, чтобы соль была сладка
 И рифмовалась юность.

1918

* * *

Пир во время Чумы. Рассветает.
 Бродит утро в кварталах сиротских.
 Грохот. Негры продвинули мимо
 Мокрых окон телегу и гроб.
 Ты, Отчаянье, пир не громи мой
 Долгим плачем окраин заводских.
 Мою душу раскрыл и читает,
 Как Евангелье, чёрненький поп.
 Там – над пылью парламентских хартий,
 Над стрельчатой крышей Аббатства,
 Где напеты, как дикие струны,
 На причалах канаты галер.
 Там – расшатаны ветром трибуны.
 Там – Чумой обезглавлено братство.
 Там – иглой на истрёпанной карте
 Размечает свой бред Гулливер.
 Вечной правды я больше не чаю.
 Воскресению мёртвых не верю.
 Мне пристало горланить и плакать
 И вином замарать кружева.
 И зарыли на кладбище Мери
 В снеговую весеннюю слякоть.
 И с другою я вновь обручаюсь.
 И растёт на могилах трава.

Лето 1918

* * *

Там, в облаках, живут богатые жильцы.
 Храпят усталые в крылах, расшитых златом.
 Целуются, сосут молочных туч сосцы.
 И много есть у них добра в шкафу пузатом.
 И топчутся внизу – актёры, шулера,
 Мяукающий кот, девчонка с вострым носом,
 Приват-доцент в очках, солдат хромой... Пора,
 Пора вставать земле изогнутым вопросом.

Между танцоров – слов и мэтра – скрипача
Тут – в черепае моём, там – над шарадой Ночи.
А мне пора уснуть. И вот летит свеча
И стол, и мир, и грусть разливом многоточий...

Лето 1918

* * *

Рабочий пыл в мансардах сна,
Резца удар по глыбе косной,
Чтоб встала Пандемос – она
Беспорной и порфиноносной.
Отвага избранных сердец,
Леса в капеллах Ренессанса...
И вот под нами – бубенец
Простуженного Декаданса.
И выросла толпа зевак,
Цепляющихся за карнизы.
Какой-то искренний чудак
Целует край раздраной ризы.
Свисает вниз тряпье судьбы.
Там, за плечами – скука, злоба.
Художник слышит зов трубы:
– Грядите! Мёртвые из гроба!
Счёт неоплаченных ночей
Предъявлен памяти разрытой
И он бежит от трубачей –
В дождь – с головою непокрытой.

Лето 1918

* * *

Они войдут, смиряя светский норов,
Ломая руки, простираясь ниц,
И на плечах пропоиц и актёров –
Лохмотия сутан и плащаниц,
Там – наплывают свечи в чёрных бантах.
Там – дамы в трауре ползут наверх –
Истерикой отбить у музыкантов
Их ремесло и хлеб – Страстной Четверг.
Мистерия... Изранен Сумасшедший
Шипами бугафорского венца.

Превыше всей Истории прошедшей
Поставил Он сей вымысел глупца.
А там – идут – в бессвязном ликованье
По городу, где раньше Цирк играл,
Кричат о том, как над наёмной рваньёю
Он – жизнью смерть и смертью жизнь попрал.
О, как Он будет царствовать и плакать,
Узнав сквозь дрёму иудейских глаз
Страстной Неделе стыд, и дождь, и слякоть,
И старый крест – зевакам напоказ.

Лето 1918

* * *

Чтобы я не зарвался в речах,
Пой мне, Муза, о жизни бывалой!
Нас к Театру вдвоём приковало
Сумасшествие в этих ночах.
О, Театр! Пьяный бог на фронтоне
Вот возница для бешеных морд.
И летят на твоём фаэтоне
Музыканты, Жар Птица и чёрт.
О, Театр! Ты мне снишься наверно.
Или вправду я болен и пьян?
Или хлынул над гадкой таверной
Атлантиды ночной океан?
Или чёрную рану сосала
Золотая медуза? А ты
Мне из кузницы мира плясала,
Разбросав Гималаев хребты?
Или солнца горят монограммы?
Или продана красная шаль?
Под раскат мировой мелодрамы
В красной мантии спит Сенешаль.
И кричат и летят за плечами
В Сан-Франциско и в Рай поезда.
На трапеции пляшет звезда,
Сожжена цирковыми ночами,
И встаёт за плечами
Текстильный Завод
С проводными бичами
И жбанами.
С визгом стальных веретён

И с крутящимися барабанами –
 Барабан – круглый год –
 Рукавами ремней заметён.
 И встаёт за плечами
 Квадратный плацдарм
 С трубачами
 Встаёт, с командирами.
 Медью горит эскадрон,
 И горит голубыми мундирами.
 Над тюрьмой николаевских жёлтых казарм
 Треплется стая ворон.
 И встают за моими плечами
 Академий и бирж купола,
 Виадук и верфи с печами,
 И сирен колыханная мгла.
 Вот он – путь! И за мною – надежда,
 Что заплатит – и мне кто-нибудь.
 Не забудь, чья спадала одежда
 Золотыми струями на грудь.
 Только – музыка снова и снова...
 И, желая – понять и любить,
 Я – подобием вора ночного –
 Зашатался – Тебя оскорбить.
 Ты мне Врач и Спаситель и Ангел.
 Я Тебя не искал никогда.
 И над руганью Римской фаланги
 Не вошла Вифлеема звезда.
 Слышу гром.
 Он поет мертвецам: Шма, Исроель!
 Топором
 Перебиты мои позвонки
 Со Святыми меня упокоил –
 И не хочешь подать мне руки?

Лето 1918

* * *

Играет на тигровых шкурах
 Стреноженных ветров табун.
 Лежит он на спинах понурых
 Сонат и вселенных и дюн.
 Миров набухают разрывы.

И звезд зеленеют кусты.
 И солнцам в косматые гривы
 Кометы влетают хвосты.
 А солнца к созвездью Геракла
 Должны их с гиканьем влечь,
 Пока в их сердцах не иссякла
 Творца семидневная печь.
 И там – в океанах Пространства,
 В цистернах, где пьют Времена, –
 Горланит и ползает пьянство,
 Кипит вихревая весна.
 И бражникам снится, как снова
 В мирах путешествует сон.
 И с визгом вертится основа
 На ткацкой машине времен.

Лето 1918

АКРОСТИХ

Звёзды сыплются в карманы клоунов дождем сладостей.
 Африканские удавы на афишах ждут гостей.
 Вверх – трапеции на блоках. В люк – машины пантомим.
 А Директор скалит зубы и размазывает грим.
 Доктор? Клоун? Ангел? Птица? Не поймешь его никак.
 Свистнул хлыст. Парик растрепан. Пляшет в небе красный фрак.
 «Караул, – кричат в партере, – ваш Директор – сущий Дьявол.
 Он в Стамбуле обезглавлен. Он в Японском море плавал».
 Музыкальный ветер свищет по лицу как тонкий хлыст.
 Улетает в круглый купол, в Млечный путь эквилибрист.

Лето 1918

* * *

Львы Пустынь и Луны Мрака! Пятихвостые кометы!
 Солнца, скверны, легионы новых солнц и новых скверн!
 Стук беды во все ворота! И у всех ворот – кареты!
 И во всех Театрах – хохот! А внизу – огни таверн!
 Вот она, какая прибыль. Продана душа на славу.
 Есть на что купить другую – только б глотки не порвать.
 Тот, кто подарил мне душу, может дать такое право,
 Чтобы в музыке финальной хоть на целый тон соврать.

Лето 1918

* * *

На гибель я вышел. А разум, как азбука, прост.
 И Вечность мне снится – Жар-Птицей, чей задранный хвост
 Не стоит гроша и продажен, как всякий товар.
 А часто мне снится: что Вечность – большой самовар.
 А умные – гости. А Бог – самый умный в семье:
 Всё строит и чертит в двухцветном своём ателье.
 Построит, покурит, откроет окно, запоёт.
 И спит на походной кровати. И рано встаёт.

Лето 1918

* * *

Зачем птенцам очами выпить ужас
 Вниз головой из материнских гнёзд?
 Зачем глупцам, зажмурясь и натужась,
 Рядиться в пафос непосильных звёзд?
 Была земля черна и ядовита,
 А на земле – цвели, чтоб нам помочь,
 Цветы со смехом. И была разбита
 Ватага звёзд, сошедших ночью – в ночь.
 Моя душа! Ты быть звездой устала,
 Распродала свой выезд, герб, девиз.
 Так Сам Господь, слезая с пьедестала,
 Снимает бороду и смотрит вниз.
 Кто звал тебя? Один осенний ветер.
 А ты, душа, нужна ль себе самой?
 Ступай, торгуйся, я один в ответе.
 Сгибайся под награбленной сумой!

Лето 1918

* * *

Рыжебородый гном,
 Хромой трубач Тоннара
 Трудится над огнём –
 И грянула фанфара,
 И взвизгнула труба,
 И дёрнула валторна –
 В дыму большого горна
 Танцует голытьба.

И с рёвом на каба́на
 Там егеря встают.
 Монахи пиво пьют
 И валяются у жбана.
 Там режут петуха.
 Там поймана воровка.
 А там скрипит ольха,
 Закинута верёвка –
 И вот висит дурак,
 И на штанах заплата.
 Пылает, словно мак,
 Дурацкая заплата.
 Пылает грозный горн,
 И гном шипит и дует.
 Гудят басы валторн
 И гном-кузнец колдует.
 И горла облаков
 Сжимает он руками.
 И синими белками
 Вращает с облаков.

Лето 1918

* * *

Петербург. Арка Штаба разбита.
 Дует ветер над серой Невой.
 Только цокают в полночь копыта
 По торцовой сухой мостовой.
 И в каналах в гранитные глыбы
 Бьется проседь понтонной реки.
 И в садках заморожены рыбы.
 И на верфи бушуют станки.
 Там – Путилово, Сормово, Тула...
 Там – ремни приводные снуют.
 Там – как флейты ружейные дула
 Отвечают на пушек салют.
 Там – слезящийся глаз карборунта
 Крик из глотки заводов исторг,
 Будто радиус Красного Бунта
 Размахнется в Берлин и в Нью-Йорк.
 В центре Города – с треском петарды
 Рассыпаются тени карет.

Августейшие кавалергарды
 Прозевали фельдмаршалский бред.
 Смотрят вверх площадей истуканы,
 Видят – флаг, а на флаге – орла.
 Как последней попойки стаканы,
 Эрмитажа звенят зеркала.
 Не глухим гренадёром разбужен,
 Не прощён и солдатским штыком,
 Павел Первый на призрачный ужин
 Входит с высунутым языком.
 И, вставая сиреной Кронштадтской,
 Льётся бронзовый грохот Петра –
 Там, где с трубками, в буре кабацкой,
 Чужестранные спят скипера.

Лето 1918

* * *

Се-Аз лечу по рельсам магистралей
 В Российский бред и колокольный гул.
 София – там, царица ли, сестра ли
 За ураганом орудийных дул.
 Се – в облаках гремят мои ботфорты,
 Регламент красный бешено топча.
 Се-Аз лечу. За мною – войск когорты.
 Качается под ветром каланча.
 Препон форты Механик – Император
 Расплавлю храпом медного коня.
 Из мглы Губерний хлебный элеватор
 Голодной глоткой изрыгнул Меня.
 Застал навек над Гадиной Злодейства.
 Простужен ветром Ладожским – лечу.
 Мой Град – в лесах. Игла Адмиралтейства
 Заменит мне церковную свечу.

Лето 1918

* * *

Зашивает Ангел дыры в крыльях золотою пряжей.
 По истлевшему хитону и по страшному лицу
 Дождь струится, расплываясь гримом клоунским и сажей,
 Чтобы Ангел стал товарищ дураку и подлецу.

Чтобы он мечтал быть чёртом, шёл в гороховом пальтишке,
 Самозванный пафос пьяниц рифмовал со всей Москвой,
 Говорил о Романтизме,
 С букинистами шептался и сосал окурочек свой.

Лето 1918

* * *

Разлад в преисподней Оркестра
 Слабеет фаготом – и вдруг
 Встаёт головою Маэстро
 На шпиль хроматических фуг.
 Кусаются ль конские морды,
 Косматые ль перья цветут,
 Взрывают ли шахту аккорды,
 Цыганка ль поёт на мосту?
 Иль плавает в тихом затоне
 С чешуйчатым рыбьим хвостом
 Танцовщица, птица на пони,
 Комета с жокейским хлыстом.
 И движется ветер промозглый
 Под небом пронзительных звёзд.
 Взбираются скрипки на козлы.
 Гремит театральный разъезд.
 К перчаткам склоняются губы.
 Кареты летят в облака.
 Актёрка за́ ворот шубы
 Уводит рассвета рука.

Лето 1918

* * *

Что может быть светлей и безглагольной,
 Чем городской сиреневый рассвет,
 Чем белый дым над белой колокольной,
 Разбросанный, как отроческий бред.
 Живые люди спят. Осколок вдоха –
 Как в горле нож. Все тайны в складках штор.
 Во сне бескрылом – утра суматоха,
 Дневной успех, вечерний разговор.
 И мертвецы – в аду и в райских куцах...
 Их ли позвать на мой осенний пир?

Или других – тех, ангелов грядущих
С очами, обращёнными на мир?
Нет, никого. Измена паладина –
Не то же ли, что верность подлеца?
Всё, что во мне, – бесспорно и едино,
Но я ещё не подниму лица.

Лето 1918

* * *

Пыльных портьер поднимаются глыбы.
Гости, как рыбы. И мебель, как снасти.
Грустные вздохи оркестра могли бы
Шарить по трупам и рвать их на части.
Вот на земле от скрипичного писка
Воют слепые ублюдки драконов.
Плачет певица бездарно и близко,
В ночь распахнулась зевота балконов.
Дальше и вместо Земного Пролога
Город встаёт – в чёрном фраке Директор.
Перед Директором – чучело бога
Или другое романтиков некто.
Дальше – а там океаны Зачатья,
В сдавленных глотках бушуют рыдания.
Грамота ночи красна – и печатью
Сердце торчит на шесте Мироздания.

Лето 1918

* * *

Был я Птице товарищем, двигал
Панорамы, бродил со звездой.
Да вот только длинна моя книга,
И задушена Птица нуждой.
Билась в клетке и хохлилась глухо,
Называла меня дураком.
И нашёл я комочек из пуха
Поутру с оловянным глазком.
А в окне был прекрасен и жарок
Город – Башня и Небо – и мост.
И рассвет – сторублёвый подарок –
Распускал механический хвост.

Лето 1918

* * *

А потом закачаются царства столбами
И отхлынут, играя, оркестры времён.
Я умру – и, целуя сухими губами,
Запрокинет мне голову дико Тальон.
Сон и Смерть! Хлыст и Лук! Цирк и Рай! Нет измены.
Снова бред заливаает миров берега.
Вот она пред трибунами райской арены
Та, которая где-то была дорога.
Гром оркестра – был пеньем кифар Эолийских,
В дугах вольтовых – Эрос рассыпал колчан.
Цирковая наездница в лентах бельгийских
С перекошенным ртом вылетает, крича.

Лето 1918

* * *

И все они, чьи близкие глаза
В твои глаза скрестились по дороге,
И соловьи, и розы-недотроги,
И ангелы, и ангелов – гроза,
И ангелов слепые образа,
И грешники, чьи груди и берлоги
Раскрылись в ночь, и музыки лоза,
Цветущая как хвост в твоём прологе.
О, все они тобой благословенны.
И все тебя благословят, наверно,
Своим забвением рая на земле.
Да. Ты умрёшь – удел обыкновенный,
Но память жизни глухо и бессмертно
Завяжет стебель в гробовом тепле.

Лето 1918

* * *

Красно́ горят в осенних сквозных лесах костры.
Вокруг костров – цыгане, их ножики остры.
Зелёный месяц в тёмных затонах опрокинут.
Рыбак закинул невод. – Уходит месяц в тину.
Как разноцветный бисер на жаркую ладонь,
Рассыпался по царству поющих птиц огонь.

По телеграфным струнам звенит одна, сбегая,
 За ней летит другая, за ней летит другая.
 Царевич едет с войском. Гудит горбатый мост.
 Над золотой каретой шипит павлиний хвост –
 Ракет ли сон потешных, цыганское ль коварство
 Или в огнях пернатых Жар-Птицы государство?
 И пьянствует Царевич. И снится сон ему:
 Летаёт в окнах недруг, посаженный в тюрьму.
 Гадают звездочёты, указ Царевич пишет.
 Звон труб и ржаний конских и сабель стук он слышит.
 Над ним то меркнет венчик, то вспыхнет гребешком.
 Вельможи этот венчик встречают шепотком.

Лето 1918

* * *

Ваш Запад в пламени. Стратегов штабных карта
 Истыкана иглой. Все мёртвые мертвы.
 Забыли буллы пап и пушки Бонапарта,
 Качаются Христы и топчутся Волхвы.
 Ваш Запад в пламени. Вам снился Катилина
 На гневных форумах. А это смерть была:
 Размытая дождём в траншеях ваших глина,
 Обозы интендантств да жалкий писк орла.
 Булонский лес разрыт. Спят компаньоны Круппа.
 Художники дрожат как бы не сдвинуть Реймс.
 И только ахают в свой телефонный рупор
 Сивиллы в пиджаках – ваш Фигаро и Таймс.
 Анафема попов и биржи свистопляска,
 Латынь учителей, гной лазаретных ран –
 Вот ваша истина. А за горами – сказка:
 Там избы и кремли гиперборейских стран.
 А вы, Гераклы недр, рыгающих на рельсах,
 Вы, гладиаторы из вёрфей и из дамб,
 Силезские ткачи и рудокопы Уэльса,
 Чьё имя – легион, в чьих глотках – дифирамб, –
 Во имя разума и чуда Notre Dame
 Мы обнимаем вас. И мы целуем морды
 Быкам, везущим хлеб голодным городам.

Лето 1918

* * *

Товарищи! Ваши глаза
 Должны зажигать и гореть.
 Да голоду в бронзовый зад
 Ударит набатная медь.
 Тащите над грохотом мира
 Атлантов двужильную мощь.
 Под вами, как в пляске факира,
 Качель караванов и роц.
 В блистательный пыл Мирабо
 Оденутся ваши сердца –
 Так сын одевает сабо
 И рыжую куртку отца.
 Как звякает сердца железка,
 Как выдрана ядрами грудь!
 Горит Рафаэлева фреска,
 И мертвый горит кто-нибудь –
 На память о воинских жертвах
 Болтается правый рукав.
 Христос воскрес из мертвых
 Смертью смерть поправ.

Лето 1918

НЕ ЛЮБЛЮ

Не люблю тех, которые ждут благостыни,
 И особенно тех, что дожидаться смогли.
 Я люблю бедуинов на страже пустыни,
 Моряков, что сжигали свои корабли.

И актёров, забывших про главный свой выход,
 И поэтов, не знающих, как рифмовать.
 Но себя не люблю окончательно. Вы хоть
 Не судите за искренность – что там скрывать!

Я люблю после ночи хмельной и метельной
 Повторить молчаливый, без имени тост.
 И ещё я люблю бесполезный, бесцельный
 Августовский подарок – падение звёзд.

1918, 1967

* * *

Дышу, разламывая воздух,
 Как будто мир – большой вертеп,
 Как будто я в падучих звёздах
 Сам обессилел и ослеп.
 Дышу. Сгорают макрокосмы.
 И гибнут на ветру костры,
 И разметались в небе космы
 Моей заоблачной сестры.
 Что это – слава колоколен
 Или моя глухая кровь?
 Я снова молодостью болен
 Неизлечимо, как любовь.
 Театры, города, солдаты,
 Девические имена
 Смешались в ямб чудаковатый,
 В мартиролог ночного сна.
 И тёмный сон продлился в мире
 Не более пяти минут,
 Но этой многовёрстной шири
 Другие люди не поймут.
 И вышел я навстречу Бога,
 Дабы не разгадал народ
 Запутанного диалога
 Лирический коловорот.
 Я, ненавидящий, влюблённый,
 Зачатый в полночь человек,
 Вступаю в хор многомиллионный –
 Дышу – в последний раз – навек.
 1918

* * *

Мой чемодан тяжёл, как будто в нём – судьба.
 В бутылке два глотка. Я знаю, как мне трудно.
 И понял, как мне жить. Свеча бросает скудно
 На низкий потолок род жёлтого герба.
 Как воеет эта ночь! Так судия у плахи
 Не измывается, но пристально молчит.
 А завтра – ярмарка. И пусть над ней торчит
 Шест с головой шута. И пусть поют монахи.

Черна моя любовь. Пуста моя пустыня.
 Но бедности моей я здесь не оскорблю.
 О, если б знала ты, как я тебя люблю,
 Как долго жду, чтобы дожждаться милостыни.
 1918

1793

Нож Гильотена под гиканье рвани
 Щёлкает по позвонкам.
 Франция, будь Пантеоном своих упований!
 Смерть, раскошешься, скупец!
 Сборищам, клубам, судам, кабакам
 В окнах приснился нормандский чепец.
 Это Шарлотта Корде за корсажем
 Прячет кинжал Немезиды, и век
 Думает, как мы об этом расскажем.
 Где ты проснуться посмел, человек!
 А по ночам – по ночам – по ночам
 Маску откинув, поёт Мельпомена:
 – Слушай, Париж, – это мир раскололся.
 Хлынули чёрно-лиловые волосы
 Волнами вольности к узким плечам.
 Рушится с плеч закипевшая пена.
 В строгие струны сплошного хитона.
 Снова и снова поёт Мельпомена:
 – Как я любила вставлять Карманьолой
 В львином косматом витийстве Дантона,
 Как отдавалась чужим трубачам,
 Авантюристам, солдатам, Людовикам,
 Вскинула тирс над Лютецией голой.
 Тирс под ветрами, как хлыст, просвистал.
 – Слушай, Париж, это час мой настал.
 Я обручаюсь с последним любовником.
 Это над гребнями крыл,
 Над голубятнями старых мансард
 Длинноволосый грядёт Бонапарт.
 Слушай шаги его, брат мой Париж!
 1918

МОСКВА

От сердца города до Земляного вала,
До Воробьёвых гор – на мостовых плотах
Росла огнём Москва, в пожарах пиновала
Без шапки, с домрою, в заплатанных портах.

Дыбáми пóднята, сугробами прижата,
В Рождественскую ночь несла свою звезду
Ватага ряженных – козлы и медвежата,
И вывездил мороз оконную слюду.

Где клиньями бород, крича, мотают смерды,
И фряжское вино в кружалах глотки жжёт,
Димитрий маленький, царевич милосердный
Свой семихолмный Град от вьюги бережёт.

Китай-город и Кремль гудят в лесах рабочих.
И, зыки медные меж облак разбросав,
Поют колокола о флорентийских зодчих –
Светла заутреня в хрустальных голосах!

1918

* * *

Не пой мне песен, панна, не зови ты
В злодейскую игру.
Пускай тебе расскажут езуиты,
Как скоро я умру.

Но мы одною мечены судьбиной –
С Литвы, из тьмы болот,
Из краковских костёлов – ястребиный
Отчаянный полёт.

Ты, подлая, сама того хотела,
Целуя и кляня,
Чтобы в падучей выгнутое тело
Переросло меня.

Где тихих рынд секиры над державой
Скрещаются, как встарь.
Вставай, отец, вонзай костыль свой ржавый
В меня, стервятник-царь!

Впивайтесь в рёбра, тощие вериги!
Прощай, любовь, забудь!
Звони, Москва, во встречные расстиги,
Мости костями путь!

В такой же час, когда ясновельможной
Я руки лобызал
И в блеске свеч, в мазурке невозможной,
Сверкал самборский зал,

В такой же час, когда крутились рядом
В шелках и жемчугах
Все замыслы твои с коварным взглядом,
Все козни – в трёх шагах, –

В такой же час на снег меня повалят
И дудку сунут в рот,
И на чело мне машкеру напялят
У башенных ворот.

И смрад пойдет по всей земле окрестной
От страшной наготы...
В такой же час, наверно, я воскресну
И ты со мной, и ты.

Помчишь за Дон, в Туречину – и больше
Тебя я не найду
Ни у кремлёвских стен, ни в отчей Польше,
Ни в небе, ни в аду.

1918–1926

* * *

Марине Цветаевой

Пусть варвары господствуют в столице
И во дворцах разбиты зеркала, –
Доверил я шифрованной странице
Твой старый герб девический – орла.

Когда ползли из Родины на Север
И плакали ночные поезда,
Я судорожно сжал севильский веер
И в чёрный бунт вернуться опоздал.

Мне надо стать лжецом, как Казанова,
Перекричать в палате Мятежей

Всех спорщиков – и обернуться снова
Мальчишкой и глотателем ножей.

И серебром колец, тобой носимых,
Украсть казнь – чужую и мою, –
Чтобы в конце последней Пантомимы
Была игра разыграна вничью.

И в новой жизни просвистит пергамент,
Как тонкий хлыст по лысым головам:
Она сегодня не придёт в Парламент
И разойтись приказывает вам.

1918

СЕРГЕЮ ГОЛЬЦЕВУ

Всадник Гольцев! С вами Бог и там и тут.
Дети в школах не услышат, не прочтут,
Как вошёл грудной ваш голос в ураган,
Как у Дона был насыпан ваш курган.
Петергоф, да Кремль октябрьский, да Ростов.
В вашей повести не тысяча листов.
Был на Севере бродяга и актёр.
Был на юге только голос: «Мы – костёр».
Запылала степь, сухим огнём пошла.
Степью рать двадцатилетних полегла.
Мы живём. Нам тоже скоро умереть.
Надо только доиграть и догореть.
Падаль конскую на ужин разогреть.
Гольцев! Слышите, как стелется метель –
Белой Армии стовёрстная постель?
Слышно ль, как звенят скрещаясь провода?
Это, Гольцев, тот, кто строит города.
Это значит – есть Россия навсегда.

1918

«В БЕЗЖАЛОСТНОЙ ЖАДНОСТИ
К СУЩЕСТВОВАНИЮ...»

Стихи 1919–1940 годов

ПРОСТИ-ПРОЩАЙ

Прости-прощай! Прощай-прости навек!
Ты только тень. Я только человек.
Ночь отречения – наше обрученье.
Кто звал меня? Чей голос раздался?
Натянуты тугие паруса,
Всё веселей и выше приключенья.

Так юность начинается. А тут –
Валы медно-лиловые растут,
Вскипает пена медленно и немо,
И вихри рвут тугие паруса.
Кто звал меня? Чей голос раздался?
Ты, Муза! Ты, мой долг! Моя поэма!

Ну так пускай я буду одинок,
Пускай земля уходит из-под ног,
Твоё, как лира, выгнутое тело
Мне снилось целый век иль полчаса.
Натянуты тугие паруса,
И я один. Ты этого хотела.

1916–1919

* * *

Черна, как бывают колодцы черны.
Черна глубиной, искажающей сны.
Так Еврейская Кровь начинается.
Струится к Двадцатому Веку и мстит,
Чтоб не был я мёртвым, который не спит,
А простым пастухом. Та ночная,
Ночная пучина, как имя сестры,
Когда-то в Гренаде вела на костры
И в кудрях выростала рогами.

Костры отпылали. Синай отгремел.
 Я огненных книг и читать не умел.
 Потому мы и стали врагами.
 С какой же неправдой, горбатый двойник,
 Из мглы синагог ты в мой разум проник
 Иль правдой какой ты владеешь?
 Ты, имя предавший ветрам Элоим,
 Зачем ты глазам воспалённым моим
 Слишком поздно вернул Иудею?

1919

* * *

Н. Щегловой

Золотом шитый подол затрепала.
 Синие руки хватают огонь.
 Ты ли в стеклянном гробу задремала,
 Ты ль не слыхала далёких погонь?
 Вот погляди: старый дом твой в метели.
 Триста прошло удивительных зим.
 В ёлочной пыльной золотой канители
 В сонных саях по России скользим.
 Дико зальётся бубенчик на дугах,
 Тихие скрипнут гроба деревень.
 Здравствуй же снова в туманах и выюгах,
 С тенью моей обручённая тень.

1919

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Какой надо мной и над ней трибунал?
 Любил, потому что душа горбуна
 Есть Театр Мирового Сраженья.
 Рассудит чума, кто бедняк и кто лорд.
 Попы разбегутся – я чёрта и Nord
 Приглашу отпевать мою Дженни.
 Вот если бы в Лондоне встать на мосту,
 Звенеть моей жизнью в ночей темноту –
 Завопит темнота воровская.
 Горбом моим горд, возгорбатится мост
 И всхлипнут, как Дженни, все тысячи звёзд,
 Мои мокрые кудри лаская.
 Друзья! Да святится название чумы!

И сколько бы джина ни выпили мы
 Под тяжёлым вестминстерским боем,
 В конец изодрав кружевной воротник,
 Воспрянет мой дух от кощунственных книг
 В милосердную смерть за тобою.

1919

ГЛУХО И БЕССПОРНО

1.

Что было – когда-нибудь там отомстится,
 Что мечталось – едва ли уложится в стих.
 Зачем же на Станции мне не польститься
 Поглядеть на колёса вагонов моих.
 Летает над снегом Луна дорогая.
 Под колёсами лязг и фонарик глухой.
 Там пьяный двойник, топоча и ругаясь,
 Подливает мне масла, товарищ плохой.
 Ах, лучше не надо бы. Лязгнуло б грузно,
 Грубо выперла в окнах и стёрлась бы твердь.
 В овраг полетел бы навеки неузнан,
 В колыбельную – братскую – добрую смерть.

2.

Моя душа. Моя. Ничья. Ночная.
 Не Сен-Жермен, не Лермонтов, не Чёрт –
 Я, неизвестный, глухо начинаю
 Магию Сна без карт и без реторт.
 Что шло из романтических романов,
 Что жгло смычком огня по волосам.
 Пойми, душа в морщинах и румянах,
 Что шёл и жил я сам, я сам, я сам.
 Тебе – мой дар, мой нагнетённый голос
 Упором вьюг и вывертом любвей.
 На сколько б толков ты ни расколось,
 Твоё название – ночь. И ты – еврей.
 Тебе – тебя я отдаю. Ты жалась,
 Божилась, искажалась. Всё прошло.
 Теперь на память, что есть жизнь и жалость
 В моём стакане чёрном – Ремесло.

1919

* * *

Силезские ткачи и рудокопы Уэльса
 На верфях, в рудниках, перед упором дамб,
 В чьих жилистых руках поют, как струны, рельсы,
 Чьих глоток не забить гудящим городам, –
 Вы, зачинатели наглее Бонапарта,
 Вы, испугатели божественной Христа.
 Вот в маленьких флажках военных штабов карта –
 Вот Европейский сад и ваша теснота.
 Ваш старый год в огне. Агент Крезю и Круппа
 Торгует под шумок Кёльнский собор за Реймс.
 Об этом харкают в свой телефонный рупор
 Вороны в котелках – ваш Фигаро и Таймс.
 Пока им снится смерть – то не воздушных коней,
 Не мёртвой гвардии взыграли корпуса,
 Но разворочены в распоротом Драконе
 Утраты матерей и братьев голоса.
 Размытая дождём в пустых траншеях падаль,
 Обозы тракторов, обозы интендантств,
 Все камни, все гробá, весь мир не баррикада ль
 Перед полком веков на площади пространств.
 Парламент – крикунам. Бесплатный рай – аббатам.
 По фунту стерлингов глотаёт биржевик.
 Мы предлагаем вам на музыку набата
 Перевести для них, что значит БОЛЬШЕВИК.
 Европа рыцарей, пиратов и апашей –
 Сей рухнувший собор за кольями веков.
 Товарищи, пора! Она под песню вашу
 С размаху двинула народов колесо.
 Во имя всех детей и пыльных книг Оксфорда,
 Во имя Разума и сердца Notre Dame –
 Мы обнимаем вас. И мы целуем морды
 Быкам, везущим хлеб голодным городам.

1919

ПОСЛЕДНИЙ

Над роком. Над рокотом траурных маршей,
 Над конским затравленным скоком.
 Когда ж это было, что призрак монарший
 Расстрелян и в землю закопан?

Где чёрный орёл на штандарте летучем
 В огнях черноморской эскадры?
 Опущен штандарт, и под чёрную тучу
 Наш красный петух будет задран.
 Когда гренадёры в мохнатых папахах
 Шагали – ты помнишь их ропот?
 Ты помнишь, что был он как пороха запах
 И как «на краул» пол-Европы?
 Ты помнишь ту осень под музыку ливней?
 То шли эшелоны к границам.
 Та осень! Лишь выдох маршей росли в ней
 И встали столбом над гранитом.
 Под занавес ливней заливистых проседей
 Закрыла военный театр.
 Лишь стаям вороньим под занавес бросить
 Осталось: «Прощай, император!»
 Осенние рощи ему салютуют
 Свистящими саблями сучьев.
 И слышит он, слышит стрельбу холостую
 Всех вахту ночную несущих.
 То он, идиот подсудимый, носимый
 По серым низинам и взгорьям,
 От чёрной Ходынки до жёлтой Цусимы,
 С молебном, гармоникой, горем...
 На пир, на расправу, без права на милость,
 В сорвавшийся крутень столетья
 Он с мальчиком мчится. А лошадь взмолилась,
 Как видно, пора околеть ей.
 Зафыркала, искры по слякоти сея,
 Храпит ошалевшая лошадь.

 – Отец, мы доехали? Где мы? – В России.
 Мы в землю зарыты, Алёша.

1919

* * *

Мне в эту полночь показалось глупо
 Скрывать пристрастие к иным вещам.
 Я молод, неизвестен и умён

И, может быть, мертвей иного трупа.
 По костенеющим моим плечам
 Струится тёмно-ржавый дождь времён.
 В раскрытых окнах красный огонь плебейский,
 Ракет миллионы, рвущихся, как шёлк.
 Миллионы человеческих песчинок,
 Несомых вихрем суеты и сует:
 Пустая площадь и голодный рынок,
 Пустое поле и голодный волк.
 Так встретились у пристани летеиской
 Две тени: император и поэт.
 Он – Император, вновь и вновь судимый,
 Я – часовой, чей долг – не отвечать.
 И я – поэт, чьё право не молчать.
 Я, может быть, пришёл к нему с Цусимы.
 Я был гудком охрипшим в Бологом.
 Я сам его расспрашивал три года.
 Раскрыты настежь окна. Он встаёт
 И входит нищим в мой горящий дом.
 И нищая дворянская порода
 На площадях свой блеск распродаёт.
 Куда Луна на крест его гробницы
 Мерцанье заклинающее льёт.
 Пускай над ним герб династии, птица
 Чей неподвижен каменный полёт.
 Над ним Луна переставляет вещи
 Кривым перстом в моем огромном сне,
 Пусть предо мной курносый и зловещий
 Расстрелянный, лицом упавший в снег.
 Зачем?

О ночь! Ты за меня ответишь
 Своим печальным голосом грудным,
 Служанка снов, когда его ты встретишь, –
 Штандартом взвейся траурным над ним.
 И что любил он – музыку парада
 И гробик сына – дай ему назад.
 И пусть летит в метелях Петрограда
 Ещё один, чьи не уснут глаза.
 Ещё один, последний Император,
 Раздавлен взглядом медного Петра
 И в чьё безумье, и в какой театр
 Он ни войдёт – иди за ним, сестра.
 За ним на смерть и на возврат ведомым,

Дабы в кольце блокады мировой
 Как в анфиладах Ледяного дома
 Метался Николай Второй – живой.
 1920

* * *

Вот он – делец, до тошноты похожий
 На всё, чем мы дышали – я и ты.
 Пародия на юность – в дряблой коже,
 В заштопанном обличии мечты.

Бацилла бесполезного брожения,
 Грибок толпы, «мужчина средних лет».
 За ним – людские жизни, плач рожиц,
 Миры перин, отхожих мест, котлет.

Мне дико, что и я – такой же точно
 Предмет сатиры, фаворит райка,
 Что между строк (пугливых) в их построчной
 Тревоге дышит он исподтишка.

Мне скучно быть – не правым и не гордым
 И не собой, а социальным злом,
 Звенеть почти надсоновским аккордом
 И пахнуть пылью, памятью, теплом.

Мне ясно, что и ты ведь не подросток –
 Моя душа, царица барахла –
 Быть за толпу и быть толпою просто
 На горе мне себя ты обрекла.

1920-е

* * *

Рушеньем Космоса прав перед Богом,
 Праздную старость мою.
 На перепутье к воздушным дорогам
 Кубок отчаянья пью.
 Строю Театры Чудес и Чудовищ.
 Понял, что большего нет:
 Выюг улетающих не остановишь,
 Не перегонишь планет.
 Были. И нет их. И нежность, и разум –

Всё так бессильно-светло.
 Иней ли вывездил острым алмазом
 К Новому Году стекло?
 И в ледяной моей светлой темнице
 Спит молодая жена.
 Знала ли дева, смежая ресницы,
 Что́ ей за ночь суждена?

1920

* * *

От берега до берега, от окна до окна –
 Только чёрная, в бредах, весна.
 Припомни же, друг, пред нашествием ночи,
 Когда ты глядишься в её зеркала,
 Что Песня Цыганская жгла твои очи,
 Что их Цирковая Наездница жгла.
 Тогда ты поймёшь, как тяжёл за спиной
 Твоей юности скарб расписной.
 Увидишь ты город, которого нет,
 Нагружаемый горем с утра,
 Тяжёлый от рухляди мёртвых планет
 От окна до окна, от костра до костра.
 И память проснётся от берега до берега,
 А ещё далеко до ночлега.

1921

ВОЛГА – КАМА. 1921

1.

По горячим следам, по горелым местам,
 Мимо вод, облаков и земель,
 Между бакенов белых и красных. А там
 В быстринáх узкогрудая мель.
 И опять пристаней голодающих гам,
 И над каждой братской душой
 Та же смерть, что грядёт по крутым берегам
 В рыжих язвинах, с кладью большой.
 И как лязганье землечерпалок – оркестр
 Эшелонов, идущих туда.
 И опять эти призраки вёрст водяных. И окрест
 Серебром расцветает вода.

И опять это пиршество полдней, и пыль,
 И златимая пышно заря.
 И над ней, над зарёй – той же смерти костыль
 Означает, что всё это зря.
 И на лбах у холмов, на груди у дорог
 На речных полноводных губах –
 Той же смерти костыль. И поёт её рог
 В телеграфных косящих столбах.
 И горячая соль, и горячий мазут,
 И канатов нагретых тоска.
 Гибнут, гибнут и гибнут... И дальше ползут,
 Раздираясь вконец облака.
 Голодай же, земля, потому что ты тень,
 Что недолго тебе голодать,
 Что в гроба низкорослых твоих деревень
 Древней смерти сошла благодать.

2.

Несло овечьим, человечьим, кислым,
 Женским, ржаным. Свисало облаками.
 Само припало к их сосцам отвислым.
 И сосны буреносные на Каме
 Шли частоколом, как оргán столетий.
 Несло на слом войной, переселеньем
 Народов. Знала память, что истлеть ей,
 И знали сосны – быть Россией лень им.
 И сосны шли, как память, – вёрст пятнадцать
 В течение часа. Чтобы только сгинуть.
 Ночь подымалась. Не могла подняться:
 Легли века ей на сухую спину.
 Не будет больше гребли, бредней, берега,
 Ни рупора, ни рубки той, ни рук тех,
 Бросавших чалки. Ни того ночлега,
 Ни чаек в чахлой, малярной бухте.
 Там ухало, рвало и выло в долах,
 И доли помнили. О чём? Спроси их.
 И это было: над Поволжьем голод.
 И это было: больше нет России.
 И это было в тучах: МНЕ ВОЗМЕЗДЬЕ
 И АЗ ВОЗДАМ. И ночь уже держала
 Меха над мраком, чтоб тушить созвездья,
 И громыхала, чтоб не слушать жалоб.

3.

И будто бы в Каменном веке малиновым солнцем цвели
 Немые мохнатые вёрсты безмерной воды и земли.
 И изжелта-красные люди над красным кремнём, не дыша,
 Грудились, как овцы, чтоб стала огнём Мировая душа.
 И помнилось каждому жадно, что будто бы он человек.
 И будто бы время пропало. И будто бы каменный век
 И красные оползни глины над северной старой рекой
 Почили на мёртвой планете, размытые мёртвой тоской.
 И кости и кольца и кубки равно превратились во прах,
 И солнце малиновым камнем застыло на голых горах.

1921

ПЕРМЬ

Гибли за вёрстами вёрсты.
 Гибли и сгнули. Стоп.
 Начисто набран и свёрстан
 День в толчее нечистот.

В бухтах набухшие дёсны
 Ржавых баржэй и баркасов
 Ветер изгрыз, как цинга.
 Вот он сквозь шалые сосны
 Воет, зарёй опоясан,
 Как чернозубый цыган.

Вот он – малиновый камень,
 Солнца косматый кусок.
 Снасти и сети на Каме,
 Оползни скользких досок.

Вот она – на́ берег забрана,
 Жёлтая, клоунски жалкая,
 Бывшая раньше рекой.
 Замертво алчущим жабрам
 Чахнуть под каждою чалкою,
 Сохнуть под каждой доской,

Каждой обглоданной лодкой,
 Каждую пядью земли.
 Вот она – с порванной глоткой
 Корчится рябь на мели.

Вот она – бывшая бытом,
 Туча с толкучего, ругань,
 Ругань и рухлядь. И вдруг
 Былью о незабытом
 Выбилась на смерть из круга
 Сирых и сиплых подруг.

В юности горнозаводской
 Брань мировая, как мать.
 Как в этой брани сиротской
 Сирой сирене внимать?

Как в этой серости серной
 Верить певучей сирене,
 Пьющей иные века,
 Льющейся и милосердной,
 Вьющейся в мир, как смиренье.
 Верной душе, как тоска?

Руки б она простирала,
 Долго и жадно вопя
 Бурным отрогам Урала,
 Бурым монгольским степям...

Нет, он бессилен на Каме,
 Голос великой сирены
 В сизых туманах с утра,
 В грубых объятиях камня,
 Будто в объятиях арены
 Потных борцов тур-де-бра.

1921

ПЁТР ПЕРВЫЙ

В безжалостной жадности к существованью,
 За каждым ничтожеством, каждою рванью
 Летит его тень по ночным городам.
 И каждый гудит металлический мускул
 Как колокол. И, зеленеющий тускло,
 Влачится классический плащ по следам.

Он Балтику смерил стальным глазомером.
 Горят в малярии, подобны химерам,
 Болота и камни под шагом ботфорт.
 Державная воля не знает предела,

Едва поглядела – и всем завладела.
Торопится Меншиков, гонит Лефорт.

Огни на фрегатах. Сигналы с кронверка.
И льды как ножи. И, лицо исковеркав,
Метель залилась – и пошла, и пошла...
И вот на рассвете пешком в департамент
Бредут петербуржцы, прильнувшие ртами
К туманному Кубку Большого Орла.

И снова – на финский гранит вознесённый –
Второе столетие мчится бессонный,
Неистовый, стужей освищенный Пётр,
Чертёжник над картами моря и суши,
Он гробит ревизские мёртвые души,
Торопит кладбищенский призрачный смотр.

1921(1966)

МНЕ СНИЛСЯ...

Мне снился накатанный шинами мокрый асфальт,
Косматое море, конец путешествия, ветер –
И девушка рядом. И осень. И стонущий альт
Какой-то сирены, какой-то последней на свете.

Мне снилось ненастье над палубным тентом, и пир,
И хлопанье пробок, и хохот друзей. И не очень
Уже веселились. А всё-таки сон торопил.
Вглядеться в него и почувствовать качество ночи!

И вот уже веса и контуров мы лишены.
И наше свиданье – то самое первое в мире,
Которое вправе хотеть на земле тишины
И стоит, чтоб ради него города разгромили.

И чувствовал сон мой, что это его ремесло,
Что будет несчастен и всё потеряет навеки.
Он кончился сразу, едва на земле рассвело.
Бил пульс, как тупая машина, в смежённые веки.

1923

ЭКСПРЕССИОНИСТЫ

Толпа метавшихся метафор
Вошла в музеи и в кафе –

Плясать и петь, как рослый кафр,
И двигать скалы, как Орфей.

Её сортировали спешно.
В продажу худший сорт пошёл.
А с дорогим, понятно, смешан
Был спирт и девка голышом.

И вот, пресытаясь алкоголем,
Библиотеки исчерпав,
Спит ужас, глиняный, как Голем,
В их размождённых черепках.

И стужа под пальто их шарит,
И ливень – тайный их агент.
По дымной карте полушарий
Они ползут в огне легенд.

Им помнится, как непогода
Шла, растянувшись на сто лет,
Легла с четырнадцатого года
Походной картой на столе...

Как пораженческое небо
И пацифистская трава
Молили молнииную небыл
Признать их древние права.

Им двадцать лет с тех пор осталось,
Но им, наивным, ясно всё –
И негрского оркестра старость,
И смерть на лицах Пикассо.

И смех, и смысл вещей, и гений,
И тот раскрашенный лубок –
Тот глыбами земных гниений
Галлюцинирующий бог.

Летят года над городами,
Вопросы дня стоят ребром.
Врачи, священники и дамы
Суют им Библию и бром.

Остался гул в склерозных венах,
Гул времени в глухих ушах.
Сквозь вихорь измерений энных
Протезов раздаётся шаг.

Футляр от скрипки, детский гробик –
 Всё поросло одной травой...
 Зародыш крепко спит в утробе
 С большой, как тыква, головой.
 1923, Берлин

РЕБЁНОК МОЙ ОСЕНЬ

Ребёнок мой осень, ты плачешь?
 То пляшет мой ткацкий станок.
 Я тку твоё серое платье,
 И город свернулся у ног.

Ребёнок седой и горбатый,
 Твоя мне мерещится мощь –
 По крышам и стёклам Арбата
 С налёта ударивший дождь.

Мой ранний, мой слабый ребёнок,
 Твой плач вырастает впотьмах.
 Но сколько их, непогребённых
 Детей моих, в сонных домах!

Теперь мне осталось одно лишь
 Седое, как дождь, ремесло.
 Но ты ведь не враг. Ты позволишь,
 Чтоб это мученье росло,

Чтоб наше прощанье окрепло,
 Кренясь на великом ветру,
 Пока я солёного пепла
 И пены со рта не сотру.

1924

САНКЮЛОТ

Мать моя – колдунья или шлюха,
 А отец – какой-то старый граф.
 До его сиятельного слуха
 Не дошло, как, юбку разодрав
 На пелёнки, две осенних ночи
 Выла мать, родив меня во рву.
 Даже дождь был мало озабочен
 И плевал на то, что я живу.

Мать мою плетьюми полосовали.
 Рвал ей ногти бешеный монах.
 Судьи в красных мантиях зевали,
 Колокол звонил, чадили свечи.
 И застыл в душе моей овечьей
 Сон о тех далёких временах.

И пришёл я в городок торговый.
 И сломал мне кости акробат.
 Стал я зол и с двух сторон горбат.
 Тут начало действия другого.
 Жизнь ли это или детский сон,
 Как несло меня пять лет и гнуло,
 Как мне холодом ломило скулы,
 Как ходил я в цирках колесом,
 А потом одной хрычовке старой
 В табакерки рассыпал табак,
 Пел фальцетом хриплым под гитару,
 Продавал афиши тёмным ломам
 И колбасникам багроворожим
 Поставлял удушенных собак.

Был в Париже голод. По-над глубиью
 Узких улиц мчался пережат
 Ярости. Гремела канонада.
 Стёкла били. Жуть была – что надо!
 О свободе в Якобинском клубе
 Распинался бледный адвокат.
 Я пришёл к нему, сказал:

«Довольно,
 Сударь! Равенство полно красоты,
 Только по какой линейке школьной
 Нам равнять горбы или носы?
 Так пускай торчат хоть в беспорядке
 Головы на пиках!

А ещё –
 Не читайте, сударь, по тетрадке.
 Куй, пока железо горячо!»

Адвокат, стрельнув орлиным глазом,
 Отвечает:

«Гражданин горбун!
 Знай, что наша добродетель – разум,
 Наше мужество – орать с трибун.
 Наши лавры – зелению каштанов

Нас венчает равенство кокард.
 Наше право – право голоштаных.
 А Версаль – колода сальных карт».
 А гремел он до зари о том, как
 Гидра тирании душил всех;
 Не хлебнув глотка и не присев,
 Пел о благодарности потомков.

Между тем у всех у нас в костях
 Ныла злость и бушевала горечь.
 Перед рёвом человечьих сборищ
 Смерть была как песня. Жизнь – пустяк.
 Злость и горечь... Как давно я знал их!
 Как скреплял я росчерком счета
 Те, что предъявляла нищета,
 Как скрипели перья в трибуналах!
 Красен платежами был расчёт!
 Разъезжали фуриями фуры.
 Мяла смерть седые куафюры
 И сдувала пудру с жёлтых щёк.
 И трясла их в розовых каретах,
 На подушках, взбитых, словно крем,
 Лихорадка, сжатая в декретах,
 Как в нагих посылках теорем.

Ветер. Зори барабанов. Трубы.
 Стук прикладов по земле нагой.
 Жизнь моя – обугленный обрубок,
 Прущий с перешибленной ногой
 На волне припева, в бурной пене
 Рваных шапок, ружей и знамён,
 Где любой по праву упоенья
 Может быть соседом заменён.

Я упал. Поплыли пред глазами
 Жерла пушек, зубы конских морд.
 Гул толпы в ушах ещё не замер.
 Дождь не перестал. А я был мёртв.
 «Дотащиться бы, успеть к утру хоть!»
 Это говорил не я, а вихрь.
 И срывал дымящуюся рухлядь
 Старый город с плеч своих.

И сейчас я говорю с поэтом,
 Знающим всю правду обо мне.

Говорю о времени, об этом
 Рвущемся к нему огне.
 Разве знала юность, что истлеть ей?
 Разве в этой ночи нет меня?
 Разве день мой старше на столетье
 Вашего молодого дня?
 И опять:
 «Дождаться, доползти хоть!»
 Это говорю не я, а ты.
 И опять задрёмывает тихо
 Море вечной немоты.
 И опять с лихим припевом вровень,
 Чтобы даже мёртвым не спалось,
 По камням, по лужам дымной крови
 Стук сапог, копыт, колёс.
 1925

ПУШКИН

Ссылка. Слава. Любовь. И опять
 В очи кинутся вёрсты и ели.
 Путь далёк. Ни проснуться, ни спать –
 Даже после той подлой дуэли.

Вспоминает он Терек и Дон,
 Ветер с Балтики, зной Черноморья,
 Чей-то золотом шитый подол,
 Буйный табор, чертог Черномора.

Вспоминает неконченный путь,
 Слишком рано оборванный праздник.
 Что бы ни было, что там ни будь,
 Жизнь грозна, и прекрасна, и дразнит.

Так пируют во время чумы,
 Так встречаются, смеясь, Командора,
 Так мятеж пробуждает умы
 Для разрыва с былым и раздора.
 Это наши года. Это мы.

Пусть на площади, раньше мятежной,
 Где расплющил змею истукан,
 Тишь да гладь. Но не вихорь ли снежный
 Поднимает свой пенный стакан?

И гудит этот сказочный топот,
 Оживает бездушная медь.
 Жизнь прекрасна и смеет шуметь,
 Смеет быть и чумой и потопом.

Заливает! Снесла берега,
 Залила уже книжные полки,
 И тасует колоду карга
 В гофрированной белой наколке.
 Но и эта нам была дорога.

Так несутся сквозь свищущий вихорь
 Полосатые вёрсты дорог.
 И смеётся та бестия тихо.
 Но не сдастся безумный игрок!

Всё на карту! Наследье усадеб,
 Вековое бессудье и грусть...
 Пусть присутствует рядом иль сзади
 Весь жандармский корпус в засаде, –
 Всё на пулю, которую всадит
 Кто в кого – неизвестно. И пусть...

Не смертельна горящая рана.
 Не кончается жизнь. Погоди!
 Не светает. Гляди: слишком рано.
 Столько дела ещё впереди.

Мчится дальше бессонная стужа.
 Так постой, оглянись хоть на миг.
 Он ещё существует, он тут же,
 В нашей памяти, в книгах самих.

Это жизнь, не застывшая бронзой,
 Черновик, не вошедший в тома,
 О, постой! Это юность сама.
 Это в жизни прекрасной и грозной
 Сила чувства и смелость ума.

1926

Я НЕ КОЛДУН

Я не колдун, и не скелет,
 И не актёр. Мне тридцать лет.
 Мне десять тысяч дней.
 Поют в театрах. Спят в домах.

Жизнь рада, что поэт впотьмах
 Увидел сон о ней.
 Спи, милая! Не знаешь ты,
 Как буря чёрной красоты
 Твоей мне дорога.
 Собакой, лампой, ветром будь,
 Чем хочешь иль хоть чем-нибудь, –
 Спи, жизнь! Я твой слуга.

Я говорю с тобой, как ритм,
 Как с паром поршень говорит,
 Как с женщиной глупец,
 Как с молнией громоотвод,
 Как Гамлет с призраком... И вот
 Все сказано. Конец.

1926

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЛАДА

Дикая пена Невы огромной
 Билась в гранит и росла всю ночь.
 В тёмном доме, в последней из комнат
 Пела моя несчастная дочь.

Дочь моя громко пела о том, как
 Бьют часы и летят года,
 Как неясен город сквозь дымку
 Вечного ливня, седой воды.

Был стариком я глухим и жадным.
 Был не отец ей, а злой Кощей.
 Мир мой заглох и вымер. Лежат в нём
 Мощи когда-то живых вещей,

Мечутся перья свеч в канделябрах.
 В струнах рояля оборван вальс.
 Вихорь один в пустых моих рёбрах
 Свищет, где раньше бился пульс.

Знаю, что не было этой высокой,
 Взрослой девочки в жизни моей.
 Сам же я тонкий дал голосок ей,
 Ждал её из-за южных морей.

Сам же сказал: – Княжна и актриса!
 Спи, не бойся, что я колдун! –

Сам над её кроваткой трясся,
Слеп от света, какой мне дан.
Снится мне всё, что она хотела,
Да не смогла ответить в ту ночь.
В старой столице тенью без тела
Бродит моя погибшая дочь.
Невские волны растут, бушуют.
Глухо несётся ладожский лёд.
Где-то росла моя дочь большая,
Да позабылась за сотню лет.
1927

ПАРИЖ

Париж! Я любил вас когда-то.
Но, может быть, ваши черты
Туманила книжная дата?
Так, может быть, выпьем на «ты»?
Не около слав Пантеона,
Почтивши их титул и ранг...
А дико, черно, потаённо –
Где спины за ломаный франк
Сгибаешь ты лысым гарсонам;
Где кофе черней и мутней;
Где ночь семафором бессонным
Моргает – и ветер над ней;
Где заперта ценность в товаре,
Где сущность вне рыночных цен;
Где голой и розовой тварью
Кончается тысяча сцен, –
Над пылью людского размола,
Над гребнями грифельных крыш,
Ты все-таки, все-таки молод,
Мой сверстник, мой сон, мой Париж!
1928

ПЕСНЯ ДОЖДЯ

Вы спите? Вы кончили? Я начинаю.
Тяжёлая наша работа ночная.

Гранильщик асфальтов, и стёкол, и крыш –
Я тоже несчастен. Я тоже Париж.
Под музыку жёлоба вой мой затянут.
В осколках бутылок, в обрезках жестянок,
Дыханием мусорных свалок дыша,
Он тоже столетний. Он тоже душа.
Бульвары бензином и розами пахнут.
Мокра моя шляпа. И ворот распахнут.
Размотанный шарф романтичен и рыж.
Он тоже загадка. Он тоже Париж.
Усните. Вам снятся осады Бастилий
И стены гостиниц, где вы не гостили,
И сильные чувства, каких и следа
Нет ни у меня, ни у вас, господа.
1928

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Опять я здоров. И опять я в бреду.
И в топку потухшую дую.
Один, наконец-то один проведу
Ночь, мрачную и молодую.
Мой старый рисунок травил купорос.
Все плоскости разом сместились.
А я у дождей и плохих папирос
Учился их смутному стилю.
Стиль создан. Осталось поставить клеймо
На прошлом. И баста. И росчерк.
Я вижу: с годами и время само,
И чувства становятся проще.
1927–1928

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Я люблю тебя в дальнем вагоне,
В жёлтом комнатном нимбе огня.
Словно танец и словно погоня,
Ты летишь по ночам сквозь меня.

Я люблю тебя – чёрной от света,
 Прямо бьющего в скулы и в лоб.
 Не в Москве – так когда-то и где-то
 Всё равно это сбыться могло б.

Я люблю тебя в жаркой постели,
 В тот преданьем захватанный миг,
 Когда руки сплелись и истлели
 В обожанье объятий немых.

Я тебя не забуду за то, что
 Есть на свете театры, дожди,
 Память, музыка, дальняя почта...
 И за всё. Что ещё. Впереди.

1929

КЛАДОВАЯ

Без шуток, без шубы, да и без гроша,
 Глухая, немая осталась душа.

Моя или чья-то, пустырь или сад,
 Душа остаётся и смотрит назад.

А там – кладовая ненужных вещей,
 Там запах весны пробивается в щель.

Я вместе с душой остаюсь в кладовой,
 Весь в дырах и пятнах – а всё-таки твой,

И всё-таки ты, моя ранняя тень,
 Не сказка, не выдумка в пасмурный день.

Наверно, три жизни на то загубя,
 Я буду таким, как любил я тебя.

1929

* * *

Эти письма из прошлого в красных печатях:
 Разорвать или сжечь – всё равно тяжело.
 Только рано иль поздно, а надо кончать их.
 Ещё рано? Нет, поздно. И поздно прошло.

Окружён со всех сторон
 Город карканьем ворон.
 Он тревожен, оттого что
 Есть в нём радио и почта.

Слышу, слышу мощный гул!
 Так в начале нашей эры
 Изучали артикул
 Лейб-гвардейцы офицеры.

На полях военных карт
 И на олове кокард
 Отчеканен символ славы –
 Зверь державный и двуглавый.

Мы опять пришли домой –
 В черноту тюрьмы военной.
 Государство, идол мой! –
 Ключ-замок обыкновенный!

Я следил, как тонны тьмы
 Ты в людские льёшь умы
 После выпитых бутылок,
 Общих фраз и пуль в затылок.

Я давно облюбывал
 Час, когда в комендатурах
 Гонят истину в подвал,
 Оставляют совесть в дуррах.

Сколько лет, сколько зим
 Был твой зов неотразим!
 Сколько осеней и вёсен
 Был он ясен и несносен!

Сколько штук тупых штыков,
 Туш, распяленных на крючьях,
 Сколько смерти! Вот каков
 Идол наших слёз горючих.

Брось в клозет газетный вздор!
 Чёрной ночи коридор
 Полон, как пристало ночи,
 Перестуком одиночек.

Государство, склад камней,
 Свалка, кладбище, разруха, –
 Ты приставлено ко мне,
 Как фискала глаз и ухо.

1929

ФУРГОН

Ползёт фургон бродячего зверинца.
 Грязь. Темень. По брезенту дождь звенит.
 Возница спит. Во сне он краше принца,
 Богат, удачлив, молод, знаменит.
 Жизнь тяжела. В харчевнях кормят скудно,
 На мокрых ярмарках голо́, как вдруг –
 Все клетки настезь. Раз! Ещё секунда...
 Он вздрогнул, что за чёрт?.. Но тьма вокруг.
 И вот опять гнилой соломы запах...
 Он зорко смотрит в дождевую тьму.
 А тьма встаёт на вывихнутых лапах,
 Ползёт на брюхе сплюсненном к нему.
 Ей хочется в немых соитях грызться,
 Клыками рвать, кромсать любой кусок.
 И чует каждым мускулом тигрица,
 Что рядом с ней течёт багряный сок...
 Пока ещё бессмысленно играя,
 Одни сопят, другие ждут свистка.
 Тогда хватает хлыст и флейту гаер,
 Он чувствует сквозь сон, что смерть близка.
 Седая сила всеми завладела!
 Седая песня прозвучала здесь!
 Не кончено на белом свете дело
 Седых чудовищ, чудищ и чудес!
 Их призраки, их тени, двойники их,
 Их пращуры, продравшие глаза,
 Трясут решетки, буйствуют в стихиях, –
 Ни в чём ином не смыслят ни аза...
 Проснуться. Крикнуть. Но дыханье спёрто.
 Фургон, как туча, катится назад.
 Сломать бы хлыст, дрянную флейту к чёрту,
 Жить с внуками и подстригать свой сад...
 А тот оскал, голодный и колючий,
 Те жалкие глаза... они твои!
 Так не теряй хлыста на всякий случай,
 Пока не рухнул на́ землю в крови!..

Пока тебя не окружила свора,
 Не кинулась стремительно – загрызть!..
 Не шелохнись! Жди молча приговора –
 Вот вся твоя удача, вся корысть.

Ползёт фургон. Пестро фургон раскрашен –
 Скрипучий, старый, мешкотный фургон.
 Возница спит. Сон долог и не страшен.
 Нестрашный сон. Предсмертный перегон.

1929

31 ДЕКАБРЯ

Этот час не похож на другие часы.
 Горячась от блистания близкой красы,

Я готов! Но и ты мне, конечно, ответишь
 За ошибки годов и за всю эту ветошь.

За горячку в крови, догоревшей дотла,
 Ты ответишь, хоть скатерть сорви со стола!

Всеми струнами грянь, во всё горло рыдая, –
 Ты ответишь за музыку, дрянь молодая!

Не сторел же я в этом хорошем году,
 Если буду поэтом – так не пропаду!

Бьёт двенадцатый час. Ты смеёшься? Прижалась?
 Или думаешь – сбудется наоборот?

Но мне нужен, как хлеб, и не нужен, как жалость,
 Этот сломанный смехом малиновый рот.

Понимаешь ты? Если бы куклой была ты,
 Я и то разбудил бы фарфоровый мозг,

Достучался, дозволялся, добился крылатой
 Сердцевины, закутанной в шёлковый лоск.

Ты не слушаешь? Это
 С тобой говорит
 Не похмелье поэта,
 А время и ритм.

Ты не слушаешь, сон
 Золотой и безмозглый!

Тонкий хлыст занесён
На высокие козлы.

Облегчённо и колко
Звенят провода.
Унеслась одноколка
Твоя навсегда.

1932

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Мой мир уже кончен.
Её последние слова

Твой мир – это юность в сыром Петербурге и куча
Сестёр и братишек, худых необутых ребят,
Которые учатся рядом и, книгой наскуча,
Всеобщую няньку, большую сестру терпят.

Твой мир – это мы, твои дети в кроватках, когда мы
Росли, и когда ты была молода, и когда
На пачку ломбардных квитанций, на сумочку дамы,
Не очень зажиточной, смутно глядела беда.

Твой мир – это зимы и вёсны, Некрасов и Чехов,
И жажада быть с нами, и мужество быть молодой.
Твой мир – это письма мои. И как будто, уехав,
Тебя напоил я живой, а не мёртвой водой.

Твой мир – это годы болезней. Потом ты ослепла.
И он обеднел – ограниченный, тусклый твой мир.
Потом ты скончалась. И горсть безымянного пепла
Не столь драгоценна как будто, но всё же кумир.

А самое горькое в том, что стирается горечь,
Стирается горькая память и мчатся года.
И что тут сказать, если этого не переспоришь!
Вот старость подходит, а ты не придёшь никогда.

Но я не сдаюсь. Я хочу безнадёжно и прямо
Выспрашивать у наступившей тогда черноты:
Зачем называется «молнией» та телеграмма,
Та чёрная, рядом с которой немислима ты?

Тебя уже не было. Где-то чужие старухи
Тебя одевали. Накрапывал, может быть, дождь.

Кишели в могилах блестящие чёрные мухи.
Вселенная знала свою беспощадную мощь.

Но это пустяк. Я приеду с тобою проститься.
Я не опоздал – мы у времени оба в гостях.
А ты превратишься в золу, в дуновение, в птицу...
Но это пустяк. Расстояние меж нами – пустяк.

(1935)

ЗАСТОЛЬНАЯ

Друзья! Мы живём на зелёной земле.
Пируем в ночах. Истлеваем в золе.
Неситесь, планеты, неситесь,
Неситесь!
Ничем не насытятся,
Мы сгинем во мгле.

Но будем легки на подъём и честны,
Увидим, как дети, тревожные сны,
Чтоб снова далече,
Целуя, калеча,
Знобила нам плечи
Погода весны.

Скрежещет железо. И хлещет вода.
Блещет звезда. И гудят провода.
И снова нам кажется
Мир великаном,
И снова легка нам
Любая беда.

Да здравствует время! Да здравствует путь!
Рискуй. Не робей. Нерасчётливым будь.
А если умрёшь,
Берегись, не воскресни!
А песня?
А песню споёт кто-нибудь!

1935

ОКОНЧАНИЕ КНИГИ

Во время войн, царивших в мире,
На страшных пиршествах земли

Меня не досыта кормили,
Меня не дочерна сожгли.

Я помню странный вид веселья –
Безделка, скажете, пустяк?
То было творчество. Доселе
Оно зудит в моих костях.

Я помню странный вид упорства –
Желанье мир держать в горсти,
С глотком воды и коркой чёрствой
Всё перечесть, перерастить.

Я жил, любил друзей и женщин,
Весёлых, нежных и простых.
И та, с которой обвенчан,
Вошла хозяйкой в каждый стих.

Я много видел счастья в бурной
И удивительной стране,
Она – что хорошо, что дурно,
Не сразу втолковала мне.

Но в свивах рельс, летящих мимо,
В горячке вёсен, лет и зим
Её призыв неутомимый
К познанию был неотразим.

Я трогал черепа страшилищ
В обломках допотопных скал.
Я уники книгохранилищ
Глазами жадными ласкал.

Меж тем, перегружая память,
Шли годы, полные труда.
Прожектор вырубал снопами
Столетия, книги, города.

То он куски ущелий щупал,
То выпрямлял гигантский рост,
Взбирался в полуночный купол
И шарил в ожерельях звёзд.

И, отягчён священной жаждой,
Её сжигающей тщетой,
Обогащён минутой каждой,
По вольной воле прожитой.

Я жил, как ты, далёкий правнук!
Я не был пращуром тебе.
Земля встречает нас как равных
По ощущениям и судьбе.

Не разрывай трухи могильной,
Не жалуй призраков в бреду.
Но если ты захочешь сильно,
К тебе я музыкой приду.

1939

НАКАНУНЕ

Согрейся у этих приморских камней,
У этих неярких и ровных огней!

Согрейся дыханьем с возлюбленной рядом,
Пока она смотрит младенческим взглядом.

Согрейся! Ещё есть надежда. Ещё
Так близко, так близко рука и плечо.

А где-то смеются и плачут и пляшут,
И письма нам пишут, и шляпами машут.

И мирная зелень ещё не красна
От пятен того дорогого вина,

Которое завтра прольётся так щедро.
Отдайся прохладе приморского ветра

Всей горечью губ и дрожанием век,
Пока ты ещё на земле, человек!

Пока не замёрз во вселенной – согрейся
За четверть часа до последнего рейса.

Июнь 1940



«Я РАССКАЗАЛ О ЖИЗНИ
КАК УМЕЛ ...»

Стихи 1943–1976 годов

СЫН

Отрывки из поэмы

1.

Вова! Я не опоздал! Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь,
Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть,
Слёз не в силах с личика смахнуть,
Голову не в силах запрокинуть,
Глубже всеми лёгкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьётся никакой рассвет?

Видишь – вот сквозь вьющуюся зелень
Светлый дом в прохладе и тени,
Вот мосты над кручами расселин.
Ты мечтал их строить. Вот они.

Чувствуешь ли ты, что в это утро
Будешь рядом с ней, плечо к плечу,
С самой лучшей, с самой златокудрой,
С той, кого назвать я не хочу.

Слышишь, слышишь, слышишь канонаду?
Это наши к западу пошли.
Значит, наступленье. Значит, надо
Подыматься, встать с сырой земли.

И тогда из дали неоглядной,
Из далёкой дали фронтовой,

Отвечает сын мой ненаглядный
С мёртвою горящей головой:

«Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня – о, не зови!
Мы идём нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и крови.

Мы летим и бьём крылами в тучи,
Боевые павшие друзья.
Так сплотился наш отряд летучий,
Что назад вернуться нам нельзя.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы – песчинки в мирозданье.
Больше мы не встретимся с тобой».

10.

Прощай, моё солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаёшься. Один. Отрешённый
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный. Не воскрешённый.
На веки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетья и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломленный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолёты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты ещё малый ребёнок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребённых.
На этом кончается повесть о сыне.

1943

ЛАГЕРЬ УНИЧТОЖЕНИЯ

И тогда подошла к нам, желта как лимон,
Та старушка восьмидесяти лет,
В кацавейке, в платке допотопных времён –
Еле двигавший ноги скелет.
Синеватые пряди её парика
Гофрированы были едва,
И старушечья, в синих прожилках рука
Показала на оползни рва.

«Извините, я шла по дорожным столбам,
По местечкам, сожжённым дотла.
Вы не знаете, где мои мальчики, пан,
Не заметили, где их тела?»

Извините меня, я глуха и слепа.
Может быть, среди польских равнин,
Может быть, эти сломанные черепа –
Мой Иосиф и мой Веньямин...
Ведь у вас под ногами не щебень хрустел.
Эта чёрная жирная пыль –
Это прах человечьих обугленных тел», –
Так сказала старуха Рахиль.

И пошли мы за ней по полям. И глаза
Нам туманила часто слеза.
А вокруг золотые сияли леса,
Поздней осени польской краса.

Там травы золотой сожжена полоса,
Не гуляют ни серп, ни коса.
Только шепчутся там голоса, голоса,
Тихо шепчутся там голоса:

«Мы мертвы. Мы в обнимку друг с другом лежим.
Мы прижались к любимым своим,
Но сейчас обращаемся только к чужим,
От чужих ничего не таим.

Сосчитайте по выбоинам на земле,
По лохмотьям истлевших одежд,
По осколкам стекла, по игрушкам в золе,
Сколько было тут светлых надежд.
Сколько солнца и хлеба украли у нас,
Сколько детских засыпали глаз.

Сколько иссиня-чёрных остригли волос,
Сколько девичьих рук расплелось.
Сколько крохотных юбок, рубашек, чулок
Ветер по свету гнал и волок.
Сколько стояли фосфор, и кровь, и белок
В подземелье фашистских берлог.

Эти звёзды и эти цветы – это мы.
Торопились кончать палачи,
Потому что глаза им слепили из тьмы
Наших жизней нагие лучи.
Банки с газом убийцы истратили все.
Смерть во всей её жалкой красе
Убегала от нас по асфальту шоссе,
Потому что в вечерней росе,
В трепетанье травы, в лепетанье листвы,
Очертанье седых облаков –
Понимаете вы! – мы уже не мертвы,
Мы воскресли на веки веков.

1944

ВСЁ КАК БЫЛО

Эти мокрые избы что гнёзда вороньи,
Эти голые сучья что розги черны.
Эта осень что вражьи войска в обороне
В подмосковном селе, в самом сердце страны.

Так сойди с фонарём по скрипучим ступеням,
Двери настезь – и прямо в ненастную тишь,
Но с каким сожаленьем, с каким упоеньем
Ты на бедной земле напоследок гостишь.

Всё как было. И снова к загадочным звёздам
Жадно тычется глазом глупец звездочёт.
Всё как было: твой мир окончательно создан:
И пространство недвижно, и время течёт.

Всё как было! Да только тебя уже нету,
Ты не юн, не красив, не художник, не бог,
Ненароком забрёл на чужую планету,
Оскорбил её кашлем и скрипом сапог

Припади к ней губами, согрей, рассмотри хоть
Этих мелких корней и травинок черты.

Если даже она твоя смертная прихоть,
 Всё равно она мать, понимаешь ли ты?
 Расскажи ей о горе своём человечьем –
 Всех, кого схоронил ты, земля сберегла.
 Всё как было. С тобою делиться ей нечем.
 Только глина да пыль у неё, да зола.

28 октября 1945

ОБЪЯСНИТЬ?

Почему же глаза твои настезь открыты
 И всмотреться не могут в посмертную тьму?
 Почему на земле мертвецы не зарыты,
 Не отпеты? Скажи, почему, почему?

Не громадина танка оглохла от вмятин
 И как памятник вечно гудит о войне...
 Это ты, мой ребёнок, тревожен и вмятен.
 Это ты навсегда существуешь во мне.

И опять терпеливой и терпкой обидой
 Навсегда между нами протянута нить.
 Но не жди от меня объяснения, убитый.
 Ничего не могу я тебе объяснить.

11 ноября 1946

НЕВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

1.

Пошла в размол субстанция Спинозы,
 Развеян прах Эйнштейновой звезды.
 Бесшумные песчаные заносы
 Засасывают смутные следы.

Лишь кое-где торчат протезы нищих,
 Обрывки шёлка и куски стекла.
 А на седых, как время, пепелищах
 И впрямь как будто вечность протекла.

Чего ж ей медлить? Плевелы отвевая
 И урезонив праздные умы,
 Она исправит главы от Матфея
 Коварным толкованием Фомы.

И ты, ровесник страшного столетья,
 Ты, человек сороковых годов,
 Исполосован памятью, как плетью,
 И впрямь на старость мирную готов?

Ты любишь слабый свет настольной лампы
 И на коротких волнах гул земли...
 Куда же эти сумрачные ямбы
 Тебя на страх домашним завели?

Ну так всмотришься же зорче напоследок,
 Прислушайся к подземным голосам!
 Ты сам дикарской трапезы объедок,
 В лоскутках кожи выдублен ты сам.

Не вздумай же отделаться насмешкой
 От свежеперепаханных траншей.
 И если вышел в путь, смотри, не мешкай!
 Последний перевал – ещё страшней.

2.

Кончатся расправы и облавы.
 Одна лишь близость кровного родства
 Темней проклятья и светлее славы.
 Проклятья или славы – что сперва?

Теряются следы в тысячелетних
 Скитаньях по сожжённым городам.
 В песках за Бабьим яром, в чёрных сплетнях,
 На чёрных рынках, в рухляди, – а там

Прожектора вдоль горизонта шарят,
 Ползут по рвам, елозят по мостам.
 Юродствует ханжа, трясётся скаред
 И лжесвидетель по шпаргалке шпарит...
 А где-то жгут, дробят, кромсают, жарят,
 Гноят за ржавой проволокой, – а там

Нет и следов, – ни в городах Европы,
 Ни на одной из мыслимых планет,
 Ни в чёрной толще земляной утробы,
 Ни в небе, ни в аду их больше нет.

Лежит брусками данцигское мыло,
 Что выварено из костей и жил.

Там чья-то жизнь двумя крылами взмыла
И кончилась, чтоб я на свете жил.

Чья жизнь? Чья смерть бездомна и бессонна?
В венце каких смолистых чёрных кос,
В каком сиянье белого виссона
Ступила ты на смертный тот откос?

Прости мне три столетья опоздания
И три тысячелетья немоты!
Опять мы разминулись поездами
На той земле, где отпылала ты.

Дай мне руками прикоснуться к коже,
Прильнуть губами к смуглому плечу, –
Я всё про то же, – слышишь? – всё про то же,
Но сам забыл, про что же я шепчу...

Мой дед-ваятель ждал тебя полвека,
Врубаясь в мрамор маленьким резцом,
Чтоб ты явилась взгляду человека
С таким вот точно девичьим лицом.

Ещё твоих запястий не коснулись
Наручники, с упряницей борясь,
Ещё тебя сквозь строй варшавских улиц
Не прогнала шпицрутенами мразь.

И колкий гравий, прах костедробилок
Тебе не окровавил нежных ног,
И злобная карга не разрубила
Жизнь пополам, прокаркав «Варте нох!»

Не подступили прямо к горлу комья
Сырой земли у страшных тех ворот...
Жить на Земле! Что проще и знакомей,
Чем чёрный хлеб и синий кислород!

Но что бы ни сказал тебе я, что бы
Ни выдумал страстнее и святей,
Я вырву только стебель из чащобы
На перегное всех твоих смертей.

И твой ребёнок, впившийся навеки
Бессмертными губами в твой сосок,
Не видит сквозь засыпанные веки,
Как этот стебель зелен и высок.

Охрипли трубы. Струны отзвучали.
Смычки сломались в пальцах скрипачей.
Чьим ты была весельем? Чьей печалью?
Вселенной чьею? – Может быть, ничьей?

Очнись, дитя сожжённого народа!
Газ, или плётка, иль глоток свинца, –
Встань, юная! В делах такого рода,
В такой любви – не может быть конца.

В такую ночь безжалостно распахнут
Небесный купол в прозелени звёзд.
Сверкает море, розы душно пахнут
Сквозь сотни лет, на сотни тысяч вёрст.

Построил я для нашего свиданья
Висящие над вечностью мосты.
Мою тревогу слышит мирозданье.
И пышет алым пламенем.

А ты?

3.

Как безнадёжно, как жестоко
Несётся время сквозь года.
Но слитный гул его потока
Звучит. ЗАПОМНИ НАВСЕГДА.

Он каждой каплей камень точит.
Но только ты выходишь в путь –
Всё безнадёжней, всё жесточе
Звучит: ЗАБУДЬ, ЗАБУДЬ, ЗАБУДЬ.

1946

* * *

Мы в Истории вычеркнем это и то,
Соскребём и подчистим и строки и сроки.
Мы возьмём на засов, что свинцом залито,
Что зарыто лопатой у края дороги.

Нет, не в памяти твёрдой, не в здоровом уме,
Но послушно, старательно, как рядовые,
Задохнёмся в любой удушающей тьме
И родимся на свет, коли надо, впервые.

Что случилось? Кто помнит? Кто смеет посметь?
Начинайся сначала, бессмертная смена!

Не звонила в набат колокольная медь,
Не скликала она мертвецов поимённо.

Только за ноги павших у нас волокут,
Только в пропасть бросают, в шальную пучину,
И трепещет под ветром кровавый лоскут,
Красный флаг, означающий первопричину.

Продолжается жизнь. Революция-Мать
Продолжает строптивное, страшное дело.
А чего не доделала, недоглядела, –
То временно. Это не грех и сломать.

1953

СНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Сны возвращаются из странствий.
Их сила только в постоянстве.
В том, что они уже нам снились
И с той поры не прояснились.

Из вечной ночи погребённых
Выходит юноша-ребёнок,
Нет, с той поры не стал он старше,
Но, как тогда, устал на марше.

Пятнадцать лет не пять столетий.
И кровь на воинском билете
Ещё не выцвела, не стёрта.
Лишь обветшала гимнастёрка.

Он не тревожится, не шутит,
О наших действиях не судит,
Не проявляет к нам участия,
Не предъявляет прав на счастье.

Он только помнит, смутно помнит
Расположенье наших комнат,
И стол, и пыль на книжных полках,
И вечер в длинных кривотолках.

Он замечает временами
Своё родство и сходство с нами.
Своё сиротство он увидит,
Когда на вольный воздух выйдет.

1956

БАЛЛАДА О ЧУДНОМ МГНОВЕНИИ

...Она скончалась в бедности.
По странной случайности гроб её повстречался
с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.

Из старой энциклопедии

Ей давно не спалось в доме деревянном.
Подходила старуха как тень к фортепьянам.
Напевала романс о мгновении чудном
Голоском еле слышным, дыханием трудным.
А по чести сказать, о мгновении чудном
Не осталось грусти в быту её скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Проживала как нищенка, на медные деньги.

Да и, господи боже, когда это было!
Да и вправду ли было, старуха забыла,
Как по лунной дорожке, в сверканье снега
Приезжала к нему – вся томленьем и нега.
Как в объятьях жарких, в молчанье ночи
Он её заклинал, целовал ей очи,
Как уснул на груди её и дышал неровно,
Позабыла голубушка, Анна Петровна...

А потом пришел её час последний.
И всесветная слава и светские сплетни
Отступили, потупясь, пред мирной кончиной.
Возгласил с волнением сам благочинный:
«Во блаженном успении вечный покой ей!»
Что в сравненье с этим счастье мирское!
Ничего не слыша, спала, бездыханна,
Раскрасавица Керн, болярыня Анна.

Отслужили службу, панихиду отпели.
По Тверскому тракту полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десятков – не боле,
Не сановный люд, не знатные гости,
Поспешали зарыть её на погосте.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал как нáзло.

Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался пугник особого рода.

И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чём-то ещё не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чём-то навеки близком.

Вот он – отлит на диво из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде
Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде.
Только страшно вырос, – прикиньте, смертьте,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и страшно спокоен, –
Поглядите, правнуки, – точно такой он!

Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чём не печалась.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновении чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших розно,
Что простились рано, а встретились поздно.

1954

ЗОЕ НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

Зое – на добрую память о времени злом.
Зое – две юности наши сплетаю узлом.
Зое – тревога, и нежность, и верность моя.
Зое – ни мыслей, ни чувств от неё не тая.
Зое – поэма о времени и о судьбе.
Зое – любимой, одной и единой, Тебе.

Ноябрь 1954

МАЯКОВСКИЙ

Пускай, никаким ремеслом не владея,
Считают, что их выручает идея,
И в разных журналах в различные сроки
Печатают лесенкой вялые строки.
Пускай водянистым своим пересказом
Хотят подсластить его гнев и сарказм

И держат в свидетельство собственной мощи
Цитаты – поплоше и мысли – поплоше.

А он, как и был, остаётся поэтом.
Живым, неприкаянным и недопетым,
Не слышит похвал, не участвует в спорах,
Бездомен, как демон, бездымен, как порох!
Ни дома, ни дыма, ни думы, ни дамы,
Ни даты, отбитой былыми годами...
Никем не обласкан, никем не освистан,
Не отредактирован, не переиздан.

Но каждое утро, как в первом издании,
Впервые вперяет глаза в мирозданье,
В сумятицу гавани, в давку вокзала,
И снова, как время ему приказало,
Встаёт на трибуне, и требует слова,
И на смерть идёт, и рождается снова.

1956

Я РАССКАЗАЛ

Я рассказал о жизни как умел, –
О всём, что знал – о счастье, о несчастье,
О мертвецах, что выкрашены в мел,
Об их сердцах, разорванных на части.

Я рассказал о том, как человек
Растет из глины, музыки и муки,
Как по следам его далеких вех
Проходят любознательные внуки.

О том, как каждой смерти суждено
Стать на земле строительной частицей.
И это было творчество. Оно
В моих стихах уже не уместится.

И это было юностью. Пора
Признаться в том, что радости хватало.
Мне часто снилась радость до утра.
Кончался сон, когда она светала.

Чем это было? Жизнью. Только так!
Рассказ о ней не выдуман. Он точен.
Вы скажете, что автор был чудак?
Вы, может быть, и правы, да не очень.

1956

* * *

Мы все – лауреаты премий,
Вручённых в честь него,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.

Мы все, его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда.

Таившиеся друг от друга
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей,

Для статуй вырванные тонны
Всех каменных пород,
Глушившие людские стоны
Водой хвалебных од, –

Пускай нас переметит правнук
Презреньем навсегда,
Всех одинаково как равных –
Мы не таим стыда.

Да, очевидность этих истин
Воистину проста!
Но нам не мёртвый ненавистен,
А наша слепота.

1956

* * *

Я не хочу судиться с мертвецом
За то, что мне казался он отцом.
Я не могу над ним глумиться,
Рассматривать его дела в упор
И в запоздалый ввязываться спор
С гробницей – вечною темницей...

Я – сотрапезник общего стола,
Его огнём испепелён дотла,
Отравлен был змеиным ядом.
Я, современник стольких катастроф,

Жил-поживал, а в общем жив-здоров.
Но я состарился с ним рядом.

Не шуточное дело, не пустяк –
Состариться у времени в гостях,
Не жизнь прожить, а десять жизней –
И не уйти от памяти своей,
От горького наследства сыновей
На беспощадной этой тризне.

Не о себе я говорю сейчас!
Но у одной истории участь
Её бесстрастному бесстрашью, –
Здесь, на крутом, на голом берегу,
Я лишь обрывок правды сберегу,
Но этих слов не приукашу.

1956

* * *

Как они бесприютны, угрюмы, понуры,
Как невесело шурятся навеселе,
Слесаря, столяры, маляры, штукатуры
В самом сердце страны, в подмосковном селе.

Что их гнёт и гнетёт и под ветром сгибает
И к земле пригибает ненастной порой?
Отчего каждый третий из них погибает
И с поличным в милиции каждый второй?

Не уроды, не выродки... мощной породы,
Плечи в сажень, осанка тверда и горда, –
Отрицатели Бога, владыки природы,
Поколение, понесшее знамя труда!

Они были цементом в решающих планах,
Ураганным огнём у речных переправ...
Погляди – разве нет у них орденских планок,
Зарубцованных ран, государственных прав?

Мы писали стихи на торжественный случай,
Потрясали сердца, вызывали слезу...
Ну так вот же она под свинцовою тучей,
Вся как есть – вся Россия теснится внизу.

Так пройдем по дорогам, по глинистым спускам,
Где трёхтонки буксуют на всяком шоссе,

Где за мокрыми избами, на́ поле русском
Она песни поёт в затрапезной красе.

Где в дощатом бараке, в сыром общежитье
Заливается за́полночь бедный баян...
– Выдь на Волгу, чей стон раздаётся, – скажите,
по какой он причине печален и пьян?

Что, товарищ, неладно, – скажи ради Бога,
В славном стане трудящихся в нашей стране?
Но товарищ молчит и вздыхает глубоко.
Он не слышит. Он, видно, стоит в стороне.

Или нынче гражданская скорбь неуместна?
Или в моде опять барабан и труба?
Или слишком нелестно и слишком известно?
Или зренье не зорко и кожа груба?

Пусть потупятся Музы, продажные шкуры,
Опротивело мне избегать ваших глаз –
Слесаря, столяры, маляры, штукатуры –
Настоящие люди, трудящийся класс.

1957

ИЕРОНИМ БОСХ

Я завещаю правнукам записки,
Где высказана будет без опаски
Вся правда об Иерониме Босхе.
Художник этот в давние года
Не бедствовал, был весел, благодушен,
Хотя и знал, что может быть повешен
На площади, перед любой из башен,
В знак приближенья Страшного суда.

Однажды Босх привёл меня в харчевню.
Едва мерцала толстая свеча в ней.
Горластые гуляли палачи в ней,
Бесстыжим похваляясь ремеслом.
Босх подмигнул мне: «Мы явились, дескать,
Не чаркой стукнуть, не служанку тискать,
А на доске грунтованной на плоскость
Всех расселить в засол или на слом».

Он сел в углу, прищурился и начал:
Носы приплюснул, уши увеличил,

Перекалечил каждого и скрючил,
Их низость обозначил навсегда.
А пир в харчевне был меж тем в разгаре.
Мерзавцы, хохоча и балагурия,
Не знали, что сулит им срам и горе
Сей живописец Страшного суда.

Не догадалась дьяволова паства,
Что честное, весёлое искусство
Карает воровство, казнит убийство.
Так это дело было начато.

Мы вышли из харчевни рано утром.
Над городом, озлобленным и хитрым,
Шли только тучи, согнанные ветром,
И загибались медленно в ничто.

Проснулись торгаши, монахи, судьи,
На улице калякали соседи.
А чертенята спереди и сзади
Вели себя меж них как господа.

Так, нагло раскорячась и не прячась,
На смену людям вылезала нечисть
И возвещала горькую им участь,
Сулила близость Страшного суда.

Художник знад, что Страшный суд напишет,
Пред общим разрушеньем не опешит,
Он чувствовал, что время перепашет
Все кладбища и пепелища все.

Он вглядывался в шабаш беспримерный
На чёрных рынках пошлости всемирной.
Над Рейном, и над Темзой, и над Марной
Он видел смерть во всей её красе.

Я замечал в Сочельник и на Пасху,
Как у картин Иеронима Босха
Толпились люди, подходили близко
И в страхе разбежались кто куда.

Сбегались вновь, искали с ближним сходство,
Кричали: «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!»
Так многие из них вершили суд свой
Во избежанье Страшного суда.

4 января 1957

ЧЁРНАЯ РЕЧКА

Всё прошло, пролетело, пропало.
Отзвонила дурная молва.
На снега Чёрной речки упала
Запрокинутая голова.

Смерть явилась и медлит до срока,
Будто мёртвой водою поит.
А Россия широко и строго
На посту по-солдатски стоит.

В ледяной петербургской пустыне,
На ветру, на юру площадей
В карауле почётном застыли
Изваянья понурых людей –

Мужики, офицеры, студенты,
Стихотворцы, торговцы, князья:
Свечи, факелы, чёрные ленты,
Говор, давка, пробиться нельзя.

Над Невой, и над Невским, и дальше,
За грядой колоннад и аркад,
Ни смятенья, ни страха, ни фальши –
Только алого солнца закат.

Погоди! Он ещё окровавит
Императорский штаб и дворец,
Отпеванье по-своему справит
И хоругви расплавит в багрец.

Но хоругви и свечи померкли,
Скрылось солнце за краем земли.
В ту же ночь из Конюшенной церкви
Неприкаянный прах увезли.

Длинный ящик прикручен к полозьям,
И оплакан метелью навзрыд,
И опущен, и стукнулся оземь,
И в земле святогорской зарыт.

В страшном городе, в гóрнице тесной,
В ту же ночь или, может, не в ту
Встал гвардеец-гусар неизвестный
И допрашивает темноту.

Взыскан смолоду гневом монаршим,
Он, как демон, над веком парит
И с почившим, как с демоном старшим,
Как звезда со звездой говорит.

Впереди ни пощады, ни льготы,
Только бури одной благодать.
И четыре отсчитаны года.
До бессмертья – рукою подать.

1959

МАРИНА

Седая даль, морская гладь и ветер
Поющий, о несбыточном моля.
В такое утро я внезапно встретил
Тебя, подруга ранняя моя.

Тебя, Марина, вестница моряны!
Ты шла по тучам и по гребням скал.
И только дым, зелёный и багряный,
Твои седые волосы ласкал.

И только вырез полосы прибрежной
В хрустящей гальке лóснился чуть-чуть.
Так повторялся он, твой зарубежный,
Твой эмигрантский обречённый путь.

Иль, может быть, в арбатских переулках...
Но подожди, дай разглядеть мне след
Твоих шагов, стремительных и гулких,
Сама помолодей на сорок лет.

Иль, может быть, в Париже или в Праге...
Но подожди, остановись, не плачь!
Зачем он сброшен и лежит во прахе,
Твой страннический, твой потёртый плащ?

Зачем в глазах остекленела дико
Посмертная одна голубизна?
Не оборачивайся, Эвридика,
Назад, в провал беспамятного сна.

Не оборачивайся! Слышишь? Снова
Шумят крылами чайки над тобой.

В бездонной зыби зеркала дневного
Сверкают скалы, пенится прибой...

Вот он, твой Крым! Вот молодость, вот детство,
Распахнутое настежь поутру.
Вот будущее. Стоит лишь взглядеться,
Отыщешь дочь, и мужа, и сестру.

Тот бедный мальчик, что пошёл на гибель,
В солёных брызгах с головы до ног, –
О, если даже без вести он выбыл,
С тобою рядом он не одинок.

И звёзды упадут тебе на плечи...
Зачем же гаснут смутные черты
И так далёко – далеко – далече
Едва заметно усмехнулась ты?

Зачем твой взгляд рассеянный ответил
Беспамятством, едва только возник?
То утро, та морская даль, тот ветер
С тобой, Марина. Ты прошла сквозь них!

12 января 1961

ВСТАНЬ, ПРОМЕТЕЙ!

Встань, Прометей, комбинезон надень,
Возьми кресало гроз высокогорных!
Горит багряный жар в кузнечных горнах,
Твой тридцативековый трудодень.

Встань, Леонардо, свет зажги в ночи,
Оконце зарешёченное вытри
И в облаках, как на своей палитре,
Улыбку Монны Лизы различи.

Встань, Чаплин! Встань, Эйнштейн! Встань, Пикассо!
Встань, Следующий! Всем пора родиться!
А вы, глупцы, хранители традиций,
Попавшие как белки в колесо,

Не принимайте чрезвычайных мер,
Не обсуждайте, свят он иль греховен,
Пока от горя не оглох Бетховен
И не ослеп от нищеты Гомер!

Всё брезжит, брызжет, движется, течёт
И гибнет, за себя не беспокоясь.
Не создан эпос. Не исчерпан поиск.
Не подготовлен никакой отчёт.

1962

СТАРЫЙ СКУЛЬПТОР

Пришли не мрамором, не бронзой, –
Живые ринулись на смотр –
В монашеском обличье Грозный,
В отваге юношеской Пётр.

Два зеркала, два разных лика,
Два крайних возраста твоих.
А за окном парижский вихрь
Не спит всю ночь и пляшет лихо.

Фиалки дышат как весна,
Грохочут фуры и фиакры.
Нет, не добьёшься больше сна,
Не отобьёшься от подагры.

Иль, может, вправду на покой,
В последний путь на катафалке?
Там, что ни май, цветут фиалки,
А глина вечно под рукой...

Но, полон злобы дня насущной,
Тот – не замеченный в углу,
Насмешливый и непослушный –
Сел на скалу, глядит во мглу,

Упёр в коленки подбородок,
Не откликается на зов.
Он тоже вышел из низов
И горд, как всяких самородок.

Он не по климату одет
И выглядит пронырой тёртым.
Прости, что вмешиваюсь, дед,
Свою тебя с твоим же чёртом!

Ты с этим малым подружись,
Стяни ремень возможно туже

И начинай сначала ту же,
Хоть и нелегкую, а жизнь.
Гол как сокол, небрит, неистов,
Ты повстречаешь молодёжь,
Рассмотришь абстракционистов
И Стасова к ним приведёшь...

Смеёшься? Неудобно, дескать,
Оставить свой привычный круг,
Быть академиком – и вдруг...
Что за нужда! Какая детскость!

Ты прав, старик, семижды прав.
Прости, что не считаюсь с датой,
Простую вежливость поправ,
Я вздумал звать тебя куда-то.

Прости! Я позже родился,
И в давке этих людных улиц
Мы на полвека разминулись,
А встретились на полчаса.

Твой возраст двадцатилетний
Не станет старше всё равно.
До скорой встречи, до последней...
Я занял очередь давно.

(1963)

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

С тобою, время неистовое,
Я жизнь свою перелистываю:

Как ты меня озадачивало,
Иной раз и наудачу вело,

Иной раз и переучивало,
Спиральный подъём раскручивало,

Познание раздвигая моё,
Осталось непостижимое,

Немереное, нечитанное,
Оружием и защитой моей!

Останься и впредь, неведомое,
Свободою и победой моей!

Хоть оба с тобой не молоды мы,
Сердца наши бьются молотами,
На крайнем своём пределе вися,
Не спи, торопись, пошевеливайся!
Не дай захиреть, взрывавай мой стих
До полной неузнаваемости!

А сверхзвуковую скорость твою
По мере сил я наверстываю.

(1963)

КАК ЭТО НИ ПЕЧАЛЬНО

Как это ни печально, я не знаю
Ни прадеда, ни деда своего.
Меж нами связь нарушена сквозная,
Само собой оборвалось родство.

Зато и внук, и правнук, и праправнук
Растут во мне, пока я сам расту,
И юностью своей по праву равных
Со старшим делятся начистоту.

Внутри меня шумят листвою весенней,
И этот смутный, слитный шум лесной
Сулит мне гибель и сулит спасенье
И воскресенье каждою весной.

Растут и пьют корнями соль и влагу.
А зимние настанут вечера –
Приду я к ним и псом косматым лягу,
Чтобы дремать и греться у костра.

Потом на расстоянье необъятном,
Какой бы вихорь дальше их ни гнал,
В четвёртом измеренье или в пятом
Они заметят с башни мой сигнал,

Услышат позывные моих бедствий,
Найдут моих погасших звёзд лучи, –
Как песни, позабывшиеся в детстве,
В коротких снах звучащие в ночи.

(1963)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не жалей, не грусти, моя старость,
 Что не слышит тебя моя юность.
 Ничего у тебя не осталось,
 И ничто для тебя не вернулось.

Не грусти, не жалей, не печалься,
 На особый исход не надейся.
 Но смотри – под конец не отчайся,
 Если мало в трагедии действий.

Ровно пять. Только пять!
 У Шекспира
 Ради вечности и ради женщин
 Человека пронзает рапира,
 Но погибший победой увенчан.

Только эта победа осталась,
 Только эта надежда вернулась,
 В дальний путь снаряжается старость.
 Вслед за ней продолжается юность.

(1964)

КАНАТОХОДЦЫ

Вся работа канатоходца
 Только головоломный танец.
 Победителю тут венца нет,
 А с искусством ничтожно сходство.

Наше дело очень простое:
 Удержать вверху равновесье,
 Верить в звёздное поднебесье,
 Как деревья, погибнуть стоя.

В каждом цирке есть купол этот,
 Не обрушенный в прах опилок.
 Путь наш ясен, а нрав наш пылок,
 И отчаянно весел метод.

Перестаньте, зрители-гости,
 Спорить с бедными мастерами!
 Посторонние в нашей драме,
 Обсуждать исход её бросьте!

Что бы ни было, нет вам дела
 До грозящей другим расплаты,
 Оттого что вы не крылаты
 И не ваша рать поредела.

1964 (1975)

БАЛАГАННЫЙ ЗАЗЫВАЛА

Кончен день. И в балагане жутком
 Я воспользовался промежутком
 Между «сколько света» и «ни зги».
 Кончен день, изображённый резко,
 Полный визга, дребезга и треска.
 Он непрочен, как сырая фреска,
 От которой сыплются куски.

Всё, что было, смазано и стёрто.
 Так какого – спросите вы – чёрта
 Склеивать расколотый горшок?
 Правильно, не стоит! Неприлично
 Перед нашей публикой столичной
 Славить каждый свой поступок личный,
 Хаять каждый личный свой грешок.

Вот она – предельная вершина!
 Вот моя прядильная машина, –
 Ход её не сложен, не хитёр.
 Я, слагатель басен и куплетов,
 Инфракрасен, ультрафиолетов,
 Ваш слуга, сограждане, – и следов...
 Вательно – Бродяга и Актёр, –

Сказочник и Выдумщик Вселенной,
 Фауст со Спартанскою Еленой,
 Дон-Кихот со скотницей своей,
 Дон-Жуан с любою первой встречной,
 Вечный муж с подругой безупречной,
 Новосёл приморский и приречный,
 Праотец несчётных сыновей.

Век недолог. Время беспощадно.
 Но на той же сцене, на площадной,
 Жизнь беспечна и недорога.
 Трачу я последние излишки

И рифмую бледные мыслишки,
А о смерти знаю понаслышке.
Так и существую.

Ваш слуга.

Декабрь 1966

СВОБОДЕН ОТ ПОСТОЯ

Вот свободен мой дом от постоя,
От налёта бессонниц и снов.
Я ушёл и жилище пустое
Запираю на тяжкий засов.

И избавлен от раннего пыла,
От всего, что звенело и жгло,
Что мешало дышать и слепило
И ложилось на жизнь тяжело.

Что здесь было, чего не бывало,
Что исчезло в огне и в дыму,
Что отыскано после обвала? –
Я с собой ничего не возьму.

Чья когда-то звезда разблесталась,
Чья парабола, чьё торжество?
Где три четверти века, где старость? –
Я с собой не возьму ничего.

Ночь летит и кренит, задыхаясь,
Вороное крыло и несёт
Безобразный, безобразный хаос
Крыш, канав, и низин, и высот.

Пусть забрезжит ненастное утро,
За звездой погаснет звезда.
Я отчалию на лодочке утлой,
Только вечность со мной навсегда.

Апрель 1965

РЕПЛИКА В СПОРЕ

На каком же меридиане,
На какой из земных широт
Мои помыслы и деянья
Будут пущены в оборот –

Переизданы ли роскошно
Иль на сцене воплощены?
Дознаваться об этом тошно,
Всё равно что ловить чины.

Я о будущем не забочусь
И бессмертия не хочу.
Не пристала такая почесть
Ни поэту, ни циркачу.

В узелок свяжу свои вещи,
Продиктую на плёнку речь...
Тут бы выразиться похлеще!
Уж куда там душу сберечь!

Декабрь 1967

* * *

Ну что ж, мы проживём без риска оступиться,
В мундирах, в пиджаках. И линзы трезвых глаз
Привыкнут к сумеркам. Пускай сейчас тупица
Не судит по глазам, что боль не улеглась!

Да, мы согласны ждать хоть полстолетья скромно,
Крепиться, гимны петь на стройке ветровой,
Согласны выпестовать в мастерской огромной
Свою историю с косматой головой.

И пусть она гудит, открытая всем бурям, –
Святая, детская, безмозглая башка!
Весь день прокурим, а всю ночь пробалагурим,
Прокормим кое-как голодного божка...

А всё-таки, – потом, когда уже не слабый,
Не хилый первенец, но возмужавший бог, –
Поймёт история, какой достигла славы,
Какой она дрянной, в конце концов, лубок, –

Мы ей предъявим счёт за полстолетья фальши,
За кривизну зеркал, за помутнение глаз,
За скрип согбенных спин и костылей. А дальше
Куда, история, ещё сошлешь ты нас?

1967

ПАМЯТЬ

Много разного вмерзло в память,
Словно мамонт в полярный лёд.
Как картину эту обрамить,
Переплесть её в переплёт?

Зазвенели гусли былины.
Старость мира, помолодеи
В черепках обожжённой глины,
В черепах сожжённых людей!

В янтаре спит мумия мухи.
Её сон продлился века.
А у нашей бессонной муки
Вся-то память на полглотка.

В недомолвках, в пустых пробелах,
В мемуарной коварной лжи
Меркнет память душ оробелых.
В чём тут соль? Мудрец, подскажи!

– Что ж, я помню Рим и Помпею,
Хиросиму и Херсонес...
Может быть, я ещё успею
Вспомнить жизнь мою под конец.

1968

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мне исполнилось семьдесят два.
Что тут скажешь – ни много ни мало.
Много дров моя жизнь наломала,
Мало жгла, – отсырели дрова.

Побрела она дальше упрямо,
Воплощается в дождь и туман,
Не вмещается в длинный роман,
Разве только в короткую драму,

Портит ритм, и ломает строку,
И старается переупрямить
Только память, одну только память,
Изменяющую старику.

1968

В ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

В долгой жизни своей,
Без оглядки на пройденный путь,
Я ищу сыновей,
Не своих, всё равно – чьих-нибудь.

Я ищу их в ночи,
В ликованье московской толпы, –
Они дети ничьи,
Они звёздных салютов снопы.

Я на окна гляжу,
Где маячит сквозной силуэт,
Где прильнул к чертежу
Инженер, архитектор, поэт, –

Кандидат ли наук,
Фантастический ли персонаж,
Чей он сын, чей он внук,
Наш наследник иль вымысел наш?

Исчезает во тьму
Или только что вышел на старт?
Я и сам не пойму,
Отчего он печален и стар.

Как громовый удар,
Прокатилась догадка во мне:
Он печален и стар,
Оттого что погиб на войне.

Свою тайну храня
В песне ветра и в пляске огня,
Он прощает меня,
Оттого что не помнит меня.

1968

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Благословляю новый труд
И всё, что трудно в нём,
Кремень, кресало, жёсткий трут,
Старинный спор с огнём.

Благословляю силу рук –
Своих, любых, чужих,
С утра включённых в тот же круг, –
Их помощью я жив.

Благословляю сон детей
В тот ранний час, когда
Из стольких свадеб и смертей
Рождается звезда.

Благословляю свет в глазах
И шум в ушах и звон,
Внезапной молнии зигзаг,
Резнувший горизонт.

Благословляю долото,
Смычок, резец, весло
И песни новые про то,
Что ветром унесло.

Благословляю вас, друзья,
Гранильщики чудес.
Вина хлебнув, сухарь грызя,
Мы отгуляем здесь.

У нас, товарищи мои,
Дорога далека.
Мы сыновья одной семьи,
Мы проживём – века.

1968

ОКЕАНСКАЯ БАЛЛАДА

Зачем мы бросаем с обрушенных палуб
Несчётные письма в бутылках пустых?
Прибило бы к скалам строфу или стих,
Одно письмецо как на грех не пропало б!

Но ярость пучины известна давно.
Спасенья не ждём мы, ответа не чаем,
Не спорим с Великим иль Тихим молчаньем.
И нам отвечает молчанье одно.

Молчанье. Зелёная злобная влага.
Смолёная фляга, летящая в ад.

В глаза нам глядят и за нами следят
Две кости и череп пиратского флага.

Всё небо обложено тусклым свинцом.
Лишь молнии вьются в коленчатых плясках.
Пуškai римский папа, клыками заляскав,
Грехи отпускает нам перед концом.

Но мы, благодать наотрез отвергая,
Ломаем оснастку и топим наш бриг.
...Никем не услышан отчаянный крик:

– Прощай, материк!
– Не горюй, дорогая!

1968

ДОН КИХОТ

Не падай, надменное горе!
Вставай, молодая тоска!
Да здравствует вне категорий
Высокая роль чудака!

Он будет – заранее ясно –
Смешон и ничтожен на вид.
Кольцом неудач опоясан,
Дымком неустройства повит.

А кто-то кричит: «Декламируй,
Меча не бросай, Дон Кихот!
В горячей коммерции мира
Ты мелочь, а всё же доход.

Дерись, разъярясь и осмелясь,
И с красным вином в бурдюках,
И с крыльями ветряных мельниц, –
Ты этим прославлен в веках.

Недаром, сожжённый как уголь,
В потешном сражённый бою,
Меж марионеток и кукол
Ты выбрал богиню свою!

Она тебе сердце пронзает,
Во всём отказав наотрез».

.....

Об этом и пишет прозаик,
 Когда он в ударе и трезв.
 1969

ЗОЯ БАЖАНОВА
Отрывок из поэмы

Поэзия! Я лгать тебе не вправе
 И не хочу. Ты это знаешь?

– ДА.

Пускай же в прочно кованной оправе
 Ничто, ничто не сгинет без следа, –
 Ни действенный глагол, ни междометье,
 Ни беглый стих, ни карандашный штрих,
 Едва заметный в явственной примете,
 Ни скрытый отклик, ни открытый крик.
 Всё, как умел, я рассказал про Зою,
 И, в зеркалах твоих отражена,
 Она сроднится с ветром и грозой –
 Всегда невеста, никогда жена.

И если я так бедственно тоскую,
 Поверь всему и милосердна будь, –
 Такую Зою –

в точности такую –

Веди сквозь время в бесконечный путь.

И за руку возьми её...

И где-то,

Когда заглохнет жалкий мой мятеж,
 Хоть песенку сложи о ней, одетой
 В ярчайшую из мыслимых одежд.

Поэзия! Ты не страна.

Ты странник

Из века в век – и вот опять в пути.
 Но двух сестёр, своих союзниц ранних, –
 Смерть и Любовь –

со мною отпусти.

Январь–март 1969

ОДА ЛИЛЕ БРИК

Я слишком редко видел вас,
 Но с давних дней запомнил твёрдо
 Сиянье двух огромных глаз –
 Их свет с обложки полустёртой.
 И словно хрупкий облик сна
 Запомнил вас, как на просторе,
 В приветствиях аудиторий,
 Когда пришла для вас весна.

«Люб – лю», три буквы Л Ю Б
 Сплелись в колечке вашем тонком...
 Они и сами по себе
 Легли клеймом на лбы подонкам, –
 Пускай их пасквили гниют!
 И без молебнов поминальных,
 Как сор в квартирах коммунальных,
 Их выметут и заплюют...

Ваш Маяковский не один,
 Не выдан бандам океанным.
 Пусть он не дожил до седин, –
 Но по векам и океанам
 Его широкий, лёгкий шаг
 Громовым гулом отдаётся,
 А для глухого идиотства
 Застрянет гул – как звон в ушах!

Но не о нём! О вас одной!
 Недаром память говорит нам
 О женской прелести – родной
 Его метафорам и ритмам, –
 О женской доблести, когда
 Вы по уши влюбились в ЧУДО...
 Всё в Маяковском шло оттуда –
 Разлёт ума, размах труда.

Когда он встретил звёздный час
 И мирозданье смерил взглядом,
 И в сердце века постучася,
 Шёл с вами об руку и рядом,
 Когда, взвиваясь на дыбы,
 Дошёл до белого каленья, –

Вы стали славой поколенья,
Вы – женщина его судьбы.

Я знаю, сколько есть вокруг
Неодолимого бесстрашья,
И сколько чистых, братских рук,
И сколько лет ночная стража
На вашей улице должна
Три раза прокричать ПРО ЭТО –
В честь оскорблённого поэта,
Чья вы невеста и жена!

25 февраля 1969

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОСЬМОГО ФЕВРАЛЯ

День рожденья – не горе, не счастье,
Не зима на дворе, не весна,
Но твоё неземное участие
К несчастливцу, лишённому сна.

Зов без отзыва, призрак без тела,
Различимая только с трудом,
Захотела ты и прилетела
Светлым ангелом в сумрачный дом.

Не сказала и слова, но молча
Подняла свой старинный стакан,
И в зелёной бутылочной толще
Померещился мне океан.

Померещились юные годы,
Наши странствия, наши пути
И одно ощущение свободы,
И одно только слово: п р о с т и !

1974 (?)

МИФ

По лунным снам, по неземным,
По снам людей непогребённых
Проходит странник. А за ним
Спешит неведомый ребёнок.

«Что, странник, ты несёшь, кряхтя?
Футляр от скрипки? Детский гробик?» –

Кричит смышлёное дитя,
И щурится, и морщит лобик.

Но странник молча смотрит вверх,
А там, в соревнованье с бездной,
Вдруг завертелся бесполезный
Тысячезвёздный фейерверк.

Там за петардой огнехвостой
Мчит вихревое колесо.
Всё это, может быть, не просто,
Но малым детям внятно всё.

И мальчик чувствует, что это
Вся жизнь его прошла пред ним –
Жизнь музыканта иль поэта,
И ужас в ней незаменим.

Что ждёт его вниманье женщин,
Утраты, труд и забытьё,
Что с чьей-то тенью он обвенчан
И сам погибнет от неё.

(1974)

ВРЕМЕННЫЙ ИТОГ

Хорошо! Сговоримся. Посмотрим,
Что осталось на свете. Пойми:
Ни надменным, ни добрым, ни бодрым
Не хочу я ходить меж людьми.

Чем гордиться? Чего мне ломаться?
И о чём ещё стоит гадать?
Дело кончено. Времени масса.
Жизнь идёт. Вообще – благодать!

Я хотел, чтобы всё человечье,
Чем я жил эти несколько лет,
Было твёрдо оплаченной вещью,
Было жизнью... А этого нет.

Я мечтал, чтоб с ничтожным и хилым
Раз в году пировала гроза,
Словно сам Громовержец с Эсхилом, –
Но и этого тоже нельзя.

Спать без просыпу? Музыку слушать?
 Бушевать, чтобы вынести час?
 Нет!.. Как можно смиреннее и суше,
 Красноречью – у камня учась.

(1974)

ВЛАДИМИРУ РЕЦЕПТЕРУ

Мой друг Володя!

Вот тебе ответ!

Все мастера суть подмастерья тоже.
 Несётся в буре углый наш корвет,
 Несётся лихо – аж мороз по коже.

Поэзия с Театром навсегда
 Обвенчаны – не в церкви, в чистом поле.
 Так будет вплоть до Страшного суда
 В свирепом сплаве счастья и боли.

Так завораживай чем хочешь. Только будь
 Самим собой – в личине и в личинке.
 Сядь за баранку и пускайся в путь,
 Пока мотор не требует починки.

Я знаю, как выносил твой мотор,
 Живущий только внутренним сгораньем, –
 Он сам прорвётся в утренний простор,
 Преображённый сновиденьем ранним.

Ничейный ученик, лихой артист,
 Любимец зала, искренний искатель
 Пойми: «Du bist am Ende was du bist»*.
 Стели на стол всю в винных пятнах скатерть,

Пируй, пока ты молод, а не стар!
 «Быть или не быть» – такой дилеммы нету.
 В спортивной форме выходи на старт –
 Орлом или решкой, но бросай монету!

Так в чём же дело? Может статься, мы
 Ровесники по гамбургскому счёту
 Или узники одной большой тюрьмы,
 В которой сквозь решётку брезжит что-то...

* Быть или не быть (нем.).

Да, это говорю я не шутя,
 Хоть весело, но абсолютно честно.
 А может статься, ты моё дитя
 Любимое от женщины безвестной.

Я это говорю, свидетель Бог,
 Без недомолвок, искренне и здраво.
 Я не мыслитель. Стих мой не глубок.
 Мы оба люди бешеного ндрава.

И каждый этим бешенством согрет,
 Загримирован и раскрашен густо.
 Мы оба – люди. Вот в чём наш секрет.
 Вот в чём безумье всякого искусства!

15 февраля 1974

* * *

Посвящается Денису Тоому

Весна от Воробьёвых гор
 До Земляного вала
 Вела с чужими разговор
 И дальше кочевала.

И дети шли с хлыстами верб
 По солнечным бульварам,
 С шарманкой шёл весёлый серб
 И с попугаем старым.

И ветер был. И снег размяк,
 И цокало бряцанье
 Извозчиков. И бился флаг
 Как чьё-то восклицанье.

И если ты посмотришь вниз –
 То всё в глазах поплыло...
 ... Лет семьдесят назад, Денис,
 Со мною это было.

1975

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ

Жильё твоё остужено.
 Жена твоя покойница

Была любимой суженой –
И вот былинкой клонится.

И спит в подводном Китеже,
Спит, запертая в тереме.
А ты сиротство выдержи,
Коли богат потерями.

Ничто, ничто не сдвинуто,
Всё прочно закольцовано.
А если сердце вынуто –
Заснёт в конце концов оно.

Забудь своё случайное.
Застынь в метели режущей
И настежь дверь в отчаянье –
В последнее прибежище.

1975

ТОЛЬКО РИТМ

Остаётся один только ритм
Во всю ширь мироздания –
Черновик чьей-то юности,
Чьей-то душе предназначенный...
То, что было в двадцатых годах
Не достойно издания, –
Уцелело нечаянно,
Сделано наспех и начерно.

Чьей-то песни давнишний припев,
Едкой соли крупница
Под чердачными балками
В хламе, в пыли разворошена.
Там сверчок свиритит,
Но куда же ему торопиться?
О, щемящая нежность,
Гремящая в горле горошина...

Нет исхода у гибнущей юности,
Нет облегченья.
Что зачёркнуто чёрною тушью –
Из памяти выпало.
Не поможет рентген –
Тщетно щупает мозг облученье:

Очертанье лица
Из безликого черепа выбыло.

Лжесвидетели ждут,
Но от них не добьёшься отчёта.
Баста! Точка и та
Продиктована горечью.
А по правде сказать,
Не моё это дело, а *чьё-то*.
Крепко дверь заперта
К Антокольскому Павлу Григорьичу.

1976

МАРКИЗ де КАРАБАС

(Вариация на тему сказок Перро)

Маркиз де Карабас гулял по сказкам,
Ничем не потрясён, слегка потаскан,
Лорнировал века.
Кот в сапогах служил ему смиренно.
Но никакая ловкая сирена
Не обольстила старика.

Когда же наш маркиз попал в темницу,
Где род людской столетьями томится,
Он обнаружил там
Такой уход за собственной персоной,
Что изнемог от скуки – вялый, сонный –
И предался мечтам...

О чём? – Бог весть... О прошлом, о грядущем...
О некоем Кощее завидушем,
Замзаве местной лжи:
Всё было мыслимо. Всё достижимо.
Все сейфы открывались без нажима –
Лишь только прикажи...

Однако и маркизу было жутко
Бездействовать в эпоху промежутка.
Маркиз мечтал попасть
В обыкновенный Ад, в простую драму,
Где дряхлый Кот не стерпит тарараму,
Лишь разевает пасть.

(1976)

* * *

Дарю тебе железное кольцо.
Марина Цветаева

Где ж оно, железное кольцо?
Там, где смерть Кощея в океане.
Я глядел всем девушкам в лицо, –
Чем старше был, тем окаянней.

Где ж они – «бессонница, восторг,
Безнадежность», данные Мариной?
Угодил я в старость, как в острог,
Иль сгорел в горячке малярийной.

В лотерее вытянул билет
Выигрышный – да делиться не с кем.
Миновало пять десятков лет
Ветром резким над проспектом Невским.

День мой беден, вечер мой убог,
Ночи непролазны, как болота.
Не художник, не силен, не бог
И не дуб – а только пень-колода.

(1976)

* * *

Нечем дышать, оттого что я девушку встретил,
Нечем дышать, оттого что врывается ветер,
Ломится в окна, сметает и пепел и пыль,
Стало быть, небыль сама превращается в быль.
Нечем дышать, оттого что я старше, чем время.

1976

ПЬЕСЫ

